

РУССКАЯ СТАРШИНА

И. К. КОНДРАТЬЕВ

**ДРАМА
НА ЛУБЯНКЕ**

**БОЖЬЕ
ЗНАМЕНИЕ**

Драма на Лубянке. Божье знаменье //Профиздат : Возрождение, Москва, 1992
ISBN: 5-72-50-0033-8
FB2: Isais <isais2005@yandex.ru >, 2018-02-08 11:04:11, version 1.1
UUID: samlib5a7c047dbf09e4.66429211
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Кузьмич Кондратьев

Драма на Лубянке

Историческая повесть с мелодраматическим сюжетом из времен Отечественной войны 1812 г.

Задолго до наступления Наполеона на Россию французские агенты влияния прибыли в Москву с намерением вести агитацию в пользу Бонапарта и разузнавать политические взгляды жителей Первопрестольной. Здесь шпионские дела странным и драматичным образом сплелись с жизнью автора широко известных лубочных книг Матвея Комарова...

Содержание

ПРОЛОГ.....	.0005
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	0023
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	0189
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.....	0272
ЭПИЛОГ.....	.0455

И. К. Кондратьев
Драма на Лубянке

ПРОЛОГ

I

Молодая женщина, очень бедно одетая, с непокрытой головой, почти босая, стояла на Яузском мосту.

День был ясный, сухой, теплый.

Шел май месяц 1791 года.

Не обращая внимания на проходящих и проезжающих, молодая женщина, опершись обеими руками на каменные перила моста, молча смотрела вниз, на мутные воды Яузы, и, казалось, с удивлением что-то рассматривала.

Проходящие, в свою очередь, не обращали внимания на молодую женщину и шли своей дорогой.

Но один из проходящих заинтересовался почему-то молодой женщиной, хотя, видимо, и торопился куда-то: подошел к ней, остановился, посмотрел на нее искоса, так же как и она, оперся на каменные перила моста и, так же как и она, начал смотреть на Яузу. Разумеется, он там ничего не увидел, кроме, может быть, своей не особенно приятной физионо-

мии, отразившейся в воде. Постояв несколько, он совершенно машинально плюнул в Яuzu, одернул сзади полы своего русского сюртука и хотел уже удалиться, как молодая женщина быстро подняла голову и обратилась к нему:

— Послушайте, у вас есть дети?

Прохожий с удивлением посмотрел на нее, провел рукой по своей небольшой бородке и проговорил:

— Что изволили сказать?

Молодая женщина грустно улыбнулась, как-то странно качнула головой и протянула к нему свою руку.

— А, на бедность изволите? — проговорил он и сейчас же поторопился прибавить: — Бог подаст, матушка, Бог!

Молодая женщина как бы не поняла его и стояла перед ним по-прежнему с протянутой рукой.

— Бог подаст, матушка, Бог! — еще раз проговорил он с недовольством, быстро направляясь вверх по Шивогорке.

— У него нет детей, — прошептала молодая женщина и, опустив голову, тихо пошла по

тому же направлению.

Когда она прошла мост и начала подниматься на Шивогорку, из одного дома навстречу ей выбежала круглая и румяная купчиха с пестрым платком на голове.

— Варюша, милая, подь ко мне, красавица! — позвала она молодую женщину.

Молодая женщина молча подошла к воротам, откуда выбежала купчиха.

— Аль ты позабыла меня, Варя?

Варя посмотрела на нее.

— Чего смотреть! Аль позабыла, спрашиваю?

Варя тихо покачала головой и грустно улыбнулась.

— Нет, не позабыла...

— А коли не позабыла, зачем же мимо меня, не повидавшись, проходишь?

— Зачем?..

Варя снова покачала головой.

— Нехорошего человека встренула.

— Нехорошего? — удивилась купчиха, — вона что! Вона какие люди на свете бывают, Господи, прости согрешения.

— Бывают... — неопределенно прошептала

Варя.

— Так вот же тебе, на, ешь на здоровье, — проговорила купчиха и сунула в руки Варюше большой кусок пирога и несколько медных грошей.

Варя спокойно взяла подачку и перекрестилась.

— Спаси тебя Бог от огня.

— Ох, спаси! — вздохнула купчиха, набожно осеняя себя крестным знамением.

Варя пошла далее. Купчиха долго провожала ее глазами, крестилась и шептала:

— Господи, спаси меня от огня! Господи, спаси меня от огня!

На углу Николоямской улицы Варя остановилась. Вдруг раздались звонкие крики: «Варя идет! Варя идет!» И к ней подбежала толпа ребятшек, которые, цепляясь своими детскими ручонками за ее отрепья, потащили ее к соседнему крыльцу.

Варя, ласково улыбаясь, покорно шла за своими вожатыми, не перестававшими кричать:

— Варя идет, ребятки! Поглядите-ка, вот она, Варя-то!

На крыльце ребятишки усадили Варю и сами уселись вокруг нее, кто где мог. Один белоголовый, голубоглазый карапузик уселся на ее колени. Другой поместился сзади, выглядывая своим чумазым личиком из-за ее плеча, третий сбоку, четвертый — где попало. Словом, каждый поместился там, где было удобнее. Не переставая улыбаться, Варя все смотрела на них, как они усаживались, и, видимо, радовалась. По всему заметно было, что она знала каждого из них и к этим усаживаниям давно уже привыкла.

— Ну, что же, — тихо заговорила она, когда ребятишки уселись, — пирожка хотите?

— На што пирожок? Не надобно пирожок! — закартавил белоголовый карапузик, усевшийся на коленях.

— А чего же — грошиков?

— И грошиков не надобно.

— Чего же?

— Варя, тетенька Варя, ты скажи нам сказочку, как маленький мальчик по грибки ходил, — вдруг почти в один голос загалдели все ребятишки.

— И-и! — закачала головой Варя... — по

грибки ходил... А лес-то темный, а лес-то дремучий... у-у, какой дремучий!..

Варя нахмурила брови, как бы желая этим показать, какой именно был дремучий лес. Дети наострили ушки и впились глазенками в рассказчицу.

А рассказчица продолжала:

— А лес-то темный, а лес-то дремучий!.. у-у, какой дремучий!.. Идет мальчик да оглядывается... А на дороге-то коренья, сучья, ягоды... и тихо-тихо в лесу, вот, словно бы в церкви перед херувимской... — Идет мальчик да оглядывается... А кукушка все кукует да кукует: ку-ку! ку-ку!.. Вот идет мальчик... идет-идет... а на дороге гриб-боровик, да такой большущий гриб-боровик, вот словно бы шишка на Яузском мосту... И полюбился маленькому мальчику такой большущий гриб-боровик, и побежал маленький мальчик к большущему грибу-боровику... хватъ боровик, а боровик ни с места... мальчик к боровику, и так-то мальчик к боровику и этак-то, а боровик себе стоит да стоит, словно бы и не его дело касается... здоровеннейший был гриб-боровик!.. А мальчик-то был хотя и маленький, да смыш-

ленный...

— Тетенька, а теперь таких боровиков нетути? — вдруг полюбопытствовал белоголовый мальчонка.

— Нетути, голубчик, нетути, — отвечала Варя, — все такие боровики вышли.

— Ишь, — удивился мальчонка, — вышли!

А Варя, понизив голос, продолжала:

— Вот, слушайте: маленький мальчик и думает: пойду-ка, думает, я в деревню, возьму-ка я ножик да срежу-ка я боровик, вот боровика-то и не будет...

Варя почему-то остановилась. Дети с нетерпением ждали окончания давно известной им сказки. Но в это время гулко прокатился в воздухе, на колокольне церкви Симеона Столпника, протяжный звон. Один удар, два, три, и вся окрестность огласилась непрерывным гулом нескольких колоколов, то густых и басовитых, то редких и тоненьких.

Детям не удалось дослушать сказку. Заслышав звон, Варя вдруг подняла голову и начала к нему прислушиваться, как будто она услышала что-либо необычайное, неестественное.

— Набат! Набат! — вскочив, вскрикнула она и, схватившись обеими руками за голову, побежала по Николоямской улице.

Испуганные дети с криком разбежались, не забыв, однако, подобрать кинутые Варей пирог и купеческие гроши.

Быстро добежала Варя до ворот церкви Симеона Столпника и остановилась в недоумении. Несколько минут смотрела она вокруг беспокойными глазами, потом проговорив кротко «пожара нет... не горит», тихо опустилась на каменные ступени ворот.

Она сидела долго. Звон между тем затих, хотя, казалось, воздух и гудел еще от последнего усиленного удара в один большой колокол.

В это же время из церкви, из главного входа, спускаясь по каменным ступеням, служащим подъемом на площадку, вышли несколько человек, видимо принадлежащих к купеческим семействам.

Они шли прямо к тем воротам, где сидела Варя. Впереди шла кормилица, в кокошнике, в нарядном сарафане, и несла на руках малютку, только что окрещенного. За нею —

крестный отец и крестная мать малютки. За ними — родные и знакомые, в длинных купеческих сюртуках, в шляпах и с палками в руках.

Варя не видела их.

Подперши обеими руками голову, она все сидела и странно смотрела на возвышавшийся перед ней через узкую Николоямскую улицу дом с семью колоннами, длинный, двухэтажный, с мезонином темного цвета. Дом этот почему-то занял ее. Она как будто помнила его, как будто много раз видела комнаты и даже смотрела вон из того окна, которое налево, прямо перед широкой главой церкви. Варя даже начинала припоминать, как кто-то однажды, в такой же вот самый день, как сегодня, ясный, теплый, распахнул это окно и долго-долго качал ее перед ним, напевая какую-то тихую и грустную песню; как кто-то носил и возил ее в маленькой, хорошенькой тележечке вон по тому двору, который виден через ворота дома и спускается к реке Яузе... А двор был зеленый, широкий, и так ей хорошо было на этом дворе, что она всякий раз, как только ее вывозили на него, смеялась до

упаду... А вот те белые фигуры на стене верхнего этажа?.. Она тоже их припоминает... С каким любопытством она когда-то издали рассматривала их своими детскими лукавыми глазенками!.. Странно... Чей же это дом?..

Мысли молодой женщины путались, голова кружилась... Она хотела припомнить еще кое-что, но это «кое-что» никак не припомнилось, а как бы уходило от нее еще далее... Глядит она, присматривается и видит перед собой все тот же темный каменный дом с колоннами и все то же знакомое ей почему-то окно.

Молодая женщина усиленно начала смотреть на это окно, ярко освещенное солнцем. Оно вдруг показалось ей огненным оком.

— Огонь! — беспокойно прошептала она и быстро отвернула от окна голову.

Перед ней мгновенно предстала ужасная картина пожара.

Пожар этот в прошлом был роковой минутой для молодой женщины. Она припомнила ужасающие его подробности.



Варя, известная всей Таганке того времени

«блаженненькая», незадолго перед этим была женой известного и почитаемого всеми на Таганке московского купца Угрюмова. Молодая, красивая, любимая своим мужем, она была уже матерью двухлетнего сына, когда в доме Угрюмова, полном всякими удобствами, произошел пожар. Часу в двенадцатом ночи, когда в доме все спало, в нижнем этаже, в нежилой комнате показался огонь. В то время пожары тушились еще домашними средствами. Поэтому, несмотря на все усилия потушить показавшийся огонь, он быстро проник в другие этажи, и через полчаса дом купца Угрюмова со всеми постройками, вышками, погребами и скворечниками превратился в целое море огня. Ударили в набат. Сбежался народ. Поднялись, по обыкновению, крики, шум, гам. И вдруг среди этого моря треска, шума и грохота раздался чей-то дикий, неестественный визг. Двадцатилетняя хозяйка дома Варвара Угрюмова в одной сорочке, простоволосая, с дико блуждающими взглядами выбежала на улицу и начала метаться. Кто-то хотел прикрыть ее и удержать, но она так рванулась от него, что он еле удержался на ногах.

После этого с криками «Сын мой! Сын мой!» она начала рваться в огонь. Ее удерживали. Оказалось, что она в испуге забыла взять с собой младенца-сына. Нашлись смельчаки, которые ринулись в огонь, чтобы спасти несчастного, но большая часть дома уже обрушилась и искать младенца было совершенно бесполезно. Самого купца Угрюмова в это время не было: он уезжал куда-то. К утру весь дом превратился в закоптелые и обгорелые груды камня, дерева, железа. Молодая хозяйка в эту же ночь исчезла неизвестно куда.

Узнав о несчастье, купец Угрюмов умер от удара. Года два стояли обгорелые трубы и стены угрюмовского дома нетронутыми рукой человеческой, года два они напоминали суеверным поселенцам Таганки о тщете людского благосостояния. На третий же год кто-то бесправно завладел ими и начал воздвигать свой дом. Тогда же появилась на Таганке и купеческая жена Варвара Угрюмова. Где она пропадала три года — никто не знал, да и не старался знать. Варвара Угрюмова появилась уже совсем не той, какой она была, прежде. Тихая, кроткая, бесприютная и всегда бедно

одетая, она ходила по улицам Таганки и просила милостыню. Кто подавал ей, тому она говорила: «Спаси тебя Бог от огня» — и шла далее. Вскоре вся Таганка узнала ее и начала называть «блаженненькой». И Варя в самом деле была какая-то блаженненькая. Не то чтобы в здравом уме, не то чтобы сумасшедшая, она целые дни бродила по улицам, а ночевала где-нибудь на крылечке или под мостом. Особенно любила она детей, да зато же и дети любили ее. Все, что она собирала, большей частью отдавала детям, которые попадались ей на улице. Уличные ребятишки любили еще Варю и за сказки, которые она им наивно рассказывала, усевшись где-нибудь на крылечке или под забором. Варя была всегда молчалива и тиха. Один только колокольный звон и выводил ее из обычного состояния. Заслышав звон, она беспокойно бежала на него и потом, успокоившись, садилась возле церкви и долго сидела, подперши обеими руками голову...

Так было и теперь.

Вышедшие из церкви начали сходить через ворота на улицу по ступеням, на которых сидела Варя. Она сидела на последней сту-

пеньке, почти посредине, и должна была встать или посторониться, чтобы пропустить проходящих.

— Поди, ведь это наша Варя, блаженненькая! — удивилась шедшая впереди всех кормилица и хотела обойти ее сторонкой.

Но отцу новорожденного, который поджидал на улице первенца, почему-то не понравилась эта встреча, и он тихо тронул сидящую.

— Эй, милая, посторонись-ка!

Варя медленно повернула к нему свою голову и — не то с удивлением, не то со страхом — остановила на нем свой странный взгляд.

Это был тот самый купец, которого она встретила на Яузском мосту.

Купец несколько смутился и хотел уже оставить Варю в покое, как та быстро вскочила и, тыча ему в лицо пальцем, закричала:

— Вот он!. Вот он!.. Тот самый!

— Кто... я-с?.. — пробормотал как бы оправдываясь купец.

— Ты! Ты!

— Что такое-с?

— Недобрый человек! Недобрый!

— А! — протянул купец и с чисто купеческой улыбочкой, которая так хорошо характеризует плутоватых торгашей, обратился к сопровождавшим его:

— Дура-с!.. С полчаса тому шел я по Яузскому мосту..! На бедность просила... Мелочи не было — не дал, — вот она и кричит... Дура-с!..

Сказав это, он быстро сунул свою руку в карман, вытащил оттуда несколько медной мелочи и протянул ее Варя.

— Получите-с... вот-с... и с Богом, милая... Молитесь за грешного раба Божьего Николая и младенца Михаила...

Варя не брала подачки.

Высоко подняв голову, она стояла перед ним в страшно возбужденном состоянии. Большие черные глаза ее сверкали, молодое лицо, еще не утратившее признаков красоты, передергивалось странной судорогой, и вся она дрожала как в лихорадке. Что-то дикое, неестественное и страшное было в этом несчастном существе, бедном, оборванном. Казалось, в голове ее бродило нечто ужасное и роковое; казалось, она припоминала что-то

такое, что ошеломило ее и застыло в душе ее тяжелым, мучительным бременем...

Все молча смотрели на бедную женщину и недоумевали, что бы это такое значило.

Более всех выразилось недоумение на лице купца. Он нетерпеливо и с досадой поглаживал свою бородку и обдергивал полы сюртука.

Сцена эта, видимо, была для него невыносима.

— Что же-с, берите, милая... — проговорил он наконец дрожащим от волнения голосом, желая прекратить это тяжелое и, можно сказать, глупое положение своих родных и свое.

Стоявшая молча, Варя вдруг тряхнула головой, рванула у него из рук деньги и сильно швырнула ему их в лицо.

— Не надо! — прохрипела она злобно. — Бери ты свои деньги назад!.. Разживайся!..

Купец вскрикнул и схватился за голову.

Медный пятак угодил ему прямо в лоб...

Произошло быстрое и неприятное замешательство.

Но потерпевший купец почему-то почел за нужное поскорее уйти.

Он быстро перешел улицу и скрылся в воротах противоположного дома.

За ним последовали и другие.

Варя же вдруг присмирела и начала с удивлением оглядываться.

Оглядываясь, она снова увидела знакомый ей дом.

— А, вот он где! — возбужденно зашептала Варя. — Он тут живет... вижу... Ну, что ж, живи... Бог с тобой... разживайся чужим добром... разживайся... Чужое-то добро впрок идет?.. Ан нет, не пойдет! — вдруг возвысила она голос. — Не пойдет! Пропадешь ты с чужим добром! Вот увидишь, что пропадешь... жутко же тебе будет!.. о, жутко!.. И ты пропадешь... и сын твой пропадет... и весь род твой пропадет!.. Слышишь ли, пропадет! — вскрикнула она особенно громко, схватившись обеими руками за голову...

Через несколько минут с кроткой, по обыкновению, улыбкой на лице Варя уже сидела на крылечке с двумя мальчуганами и рассказывала им дикую и ужасную сказку о том, как один богатый московский купец съел свою родную дочь, чтобы несметное богатство свое

оставить одному только сыну. Сказка была до того невероятна, что даже дети усомнились в ее правдивости.

— Варя, тетенька, — заметил один из мальчуганов, — как же это так, купец, православный, свою дочку съел? Нешто и купцы, как людоеды, своих деточек едят?

— Едят! Едят! И еще как едят! — сверкая глазами, закричала Варя и захохотала, глядя в упор на испугавшихся детей...

На бедную женщину нашел припадок мучительного безумия.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

С тех пор, как произошла сцена у церкви Симеона Столпника, прошел двадцать один год.

Как и следует, много воды утекло. Как и следует, много случилось такого, что долго никем не забывается. Много угасло светил рода человеческого, много вместо них появилось новых. Сбросив с пьедестала одних, человечество воздвигло памятники другим, чтобы с течением времени предпочесть им новых кумиров и немедля воздвигнуть им новые памятники.

А время было знаменательное.

Это было время, вместившее в себя целую эпопею человеческой борьбы с враждебными ей элементами.

Это было время, когда появился гордый человек, задумавший создать всемирное владычество, и, обливая кровью поля Европы и знойные пески Африки, подобно орлу, выслеживающему свою добычу, зорко смотрел на восток и ждал момента, когда ему можно бу-

дет стремглав кинуться на него.

Момент настал.

Гордый человек двинул свои полки на восток, и вот на берега Немана, Вилии и Днепра впервые набежали чуждые им народы.

Тихо, сознательно, как роковая необходимость, двигал он полки свои в глубину России.

Дрогнула Россия.

«Кто этот дерзкий?» — спрашивало сердце русское и устами своего молодого царя сказало: «Не положу оружия, доколе хотя единый неприятель останется в земле моей».

А враг кичился.

«Россия увлекается роком! Она не избегнет судьбы своей!..»

Гордый человек, не он ли сам увлекался роком и не он ли сам не избег судьбы своей!..

II

Близ Ильинки, в Москве, существовала в 1812 году кофейня.

Кофейню эту содержал московский мещанин Федор Андреев.

Славилась кофейня на всю Москву, и ее посещали не только лица среднего сословия,

простые дворяне, чиновники, но и лица более высшие. Причина этого заключалась в том, что у Федора Андреева подавался замечательно хороший кофе и, кроме того, имелись отделения в чисто восточном вкусе, с ковриками, оттоманками и даже кальянами.

Слух в народе ходил, что Федор Андреев турок.

В самом деле, он принадлежал к какой-то странной национальности. Кофейню же свою он содержал уже года два. В деньгах Андреев никогда не нуждался и жизнью своей далеко не напоминал торгового человека.

Веселый, расторопный, отчасти балагур, Федор Андреев умел всякому угодить и всякому понравиться. С посетителями своими он держал себя запросто и со многими из них был на «ты».

Отличительной чертой Федора Андреева было любопытство.

Только что появлялся знакомый или незнакомый посетитель, чтобы выпить одну-другую чашку кофе, как Федор Андреев подходил к нему, делал почтительный поклон и, приблизительно, заводил следующий

разговор:

— Позвольте узнать, какой вы кофе больше любите?

— Мне все равно. У вас, я знаю, вообще кофе хорош.

— Совершенно справедливо. Но некоторые, например, любят ливанский кофе, некоторые не любят.

— Я люблю ливанский.

— В чашке, в стакане?

— В стакане.

— А некоторые, положительно, не могут пить из стакана, — замечает Андреев, — и я с ними совершенно согласен.

— Мне все равно! — отрезает посетитель, желая как можно скорее отделаться от докучливого хозяина.

Но от Федора Андреева отделаться было не легко. Он до тех пор не отходил от посетителя, пока не узнавал образа его мыслей. Цель же Федора Андреева при этом заключалась в том, чтобы оценить своего гостя относительно его политических взглядов, ибо политика была тоже слабой стороной Федора Андреева.

Сторона эта была несколько странна в нем

и нередко удивляла посетителей. Но Федор Андреев так умел держать себя в этом отношении, что все сводилось на шутку.

Федор Андреев, как уже сказано, был московский мещанин и считался перекрещенцем из мусульман, но при взгляде на него никак нельзя было предполагать, чтобы он принадлежал к породе измаелитов. В нем прежде всего поражала благородная осанка и особенного рода достоинство, которые ни в каком случае не могли совместиться в верном поклоннике пророка, Хаджи Хубабат-Назари, как он прежде именовал себя. Потом, он говорил особенно выразительно и тоже с достоинством, хотя, видимо, и старался несколько изменить русские ударения, что, однако, ему всегда плохо удавалось. Далее, бывший турок, Хаджи Хубабат-Назари, в известное время пропадал куда-то и возвращался всегда поздно ночью, с особенной таинственностью запирался в отдельной комнате и сидел там, обыкновенно не выходя до следующего вечера. Вечером же он появлялся в кофейной, принимался за обычные дела, по обыкновению, любезно и предупредительно встречал посе-

тителей и, по обыкновению же, был и любопытен и старался узнать образ мыслей посетителя относительно политической жизни мира. В таких случаях Федор Андреев редко когда узнавал что-либо новое, потому что всякий, с кем только он заговаривал, сам, в свою очередь, старался узнать от него кое-что и торопился полюбопытствовать, где бывал-побывал почтенный Федор Андреич. Но почтенный Федор Андреич при этом плутовато улыбался, трепал знакомого человека по плечу и потом шепотом, с игривостью что-то передавал ему на ухо.

— Неужели?! — восклицал тот, масляно улыбаясь.

— Уж так... — говорил Федор Андреев, прищуривая правый глаз и стараясь казаться как можно более простоватым.

— Ах ты плут! Ах, плут! — удивлялся посетитель. — Скажите пожалуйста, гусь-то какой нашелся!.. Ай да Федюша!..

— Эге! — подмигивал Федюша. — У нас так!.. Не знаем, как у вас, а у нас так!

— Ну, и что ж, хороша собой? — таинственно любопытствовал собеседник, — красави-

ца?

Вместо ответа Федор Андреев целовал кончики пальцев и сладострастно чмокал губами.

— Стало быть, у тебя губа-то не дура.

— Еще бы! А у тебя?

— Кто на этот счет не грешен! Только я, брат, часок-другой... и довольно... А ты — вот на что!.. Двое суток... И видно, что восточный человек...

— Эге! — самодовольно улыбался Федор Андреев, с особенной ловкостью прищелкивая двумя пальцами.

С другим, с третьим, с четвертым посетителем происходило то же самое.

Хотя те, которые покороче знали содержателя кофейни и не верили его любовным похождениям, тем не менее не обращали на его поездки особенного внимания. Да и кому какое дело, чем кто занимается. У всякого свои хлопоты.

А Федор Андреев жил себе да жил таким образом и дожил до 1812 года.

В этом году, весной, отлучки его стали заметно делаться чаще и продолжительнее,

несмотря на то, что присутствие его в кофейне было почти необходимо: в это время публика с особенным азартом начала посещать его кофейню.

Причина была простая: Федор Андреев получал три-четыре иностранные газеты.

Русских газет в то время почти не было. Вся премудрость и все новости дня черпались читающей средой из французских и немецких изданий. Успех этих изданий был очень понятен в то знаменательное время. В них было все, что только интересовало тогдашний мир. В них описывались подвиги Наполеона, печатались его прокламации, хвастливые до шутовства бюллетени и помещались панегирики, превозносившие маленького, толстенького и кругленького человечка до небес.

Понятно, что находилось много читателей подобных газет. Пылкие головы вообще любят восторженность, а восторженности в этих газетах было не занимать стать.

III

В один из дней августа месяца 1811 года в Тверские ворота под вечер въехала большая

и неуклюжая дорожная карета. Карету везла тройка здоровых и красивых лошадок, которые, почуяв близость отдыха, особенно бодро подбежали к воротам. Завидев тройку, из каменных сторожек тотчас же выбежали два драгуна и заставили ворота рогатками.

Надо заметить, что Тверские ворота, существующие ныне только по имени, в то время были каменные здания с большими, истинно богатырскими, железными воротами. Ворота эти на ночь затворялись, а улицы загораживались рогатками. Таких ворот в Москве было около шестнадцати. Несмотря на то, что ворота были велики и тяжелы, они нередко пропадали. Так, однажды смотритель Яузских ворот доносил своему начальству, что в одну темную ночь ворота были неизвестно кем украдены. Все поиски отыскать похитителя, изобразившего из себя нового Самсона, остались напрасными: ворота как в воду канули.

В свою очередь, завидев драгун, кучер, с ног до головы занесенный пылью, осадил тройку и неохотно начал слезать с козел.

— Базиль, что там? — вдруг послышался из кареты молодой женский голосок с особенно

сильным польским акцентом...

— Застава, паненки, билеты показывать надобно, — отвечал кучер.

— А! — протянул голосок, — ну, что ж, покажи... только, послушай, нельзя ли поскорей, пожалуйста...

— Живой рукой...

Через несколько минут кучер стоял уже перед смотрителем ворот, который вписывал в заставную книгу следующее:

«Антонина, Донатова дочь, Грудзинская, 16-ти лет от роду. Отец сей: подполковник польских улан Донат, Феликсов сын, Грудзинский».

Далее: «При ней едут: шляхтянка Эмилия Прушинская, 23 лет, и дворовый человек Базил Гринцевич, 40 лет».

Не любопытствовав даже, действительно ли едут те, билеты которых вписывались в книгу, смотритель отправился в свою комнату. Драгуны сейчас же приняли рогатки, кучер вскочил на козлы, и карета, мерно покачиваясь, двинулась вперед.

Миновав пустыри, которыми были окружены ворота, карета повернула направо и

вскоре очутилась на Поварской, где и остановилась в одном из переулков между Поварской и Арбатом перед небольшим двухэтажным домом с прекрасным палисадом.

Едва только карета, въехав во двор, остановилась, как из дома навстречу ей вышла довольно пожилая женщина, чисто одетая, и начала суетиться около вещей. Из кареты же, никем не поддерживаемые, вышли две девушки, с виду одинаковых лет и красоты. Пока кучер и женщина возились около вещей, девушки, несмотря на усталость, быстро прошли небольшой дворик и скрылись в дверях парадного крыльца. Видимо, девушки не раз уже бывали в этом доме и расположение его было им хорошо известно.

Только они скрылись, как кучер с женщиной будто невзначай сошлись за каретой и на лету поцеловались.

— А я думала, что вы уж и не приедете, — заговорила радостно женщина.

— Зачем же не приехать? — оглянувшись, ответил кучер.

— Так... мало ли что!.. Ныне времена строгие — все могло быть...

— Ничего не могло быть...

— Вон и звезда с хвостом явилась... Не к добру эта звезда, говорят у нас, пометет она землю русскую...

— Молчи... будет... — внушительно проговорил кучер, оглядываясь, — успеешь еще наговориться... не на два дня приехали...

— Ох, уж больно мне за вас боязно было! — вздохнула женщина и начала вытаскивать из кареты какие-то узлы.

Вскоре карета от вещей была освобождена, лошади выпряжены, а небольшой дворик, на некоторое время оживившийся, снова был тих, как и прежде.

Тишина эта не нарушалась до полуночи.

В полночь же, когда кое-где замерцали фонари, прибитые у заборов, к воротам дома подъехала извозчичья тележка, из которой выпрыгнул знакомый нам содержатель кофейни Федор Андреев.

Он быстро расплатился с извозчиком и еще быстрее побежал по дворику, посматривая на окна, которые были совершенно темны...

В маленькой, но уютно обставленной комнате, выходящей окнами на двор, сидели две приезжие девушки.

Одна из них, панна Грудзинская, довольно небрежно развалилась на небольшом диванчике, другая, Эмилия Прушинская, сидела у стола с книгой в руках. Видимо, они только что прекратили какой-то разговор, занимавший их обеих, и с целью приняли довольно беспечное положение. В самом деле, они притихли только в то время, когда слышали у ворот стук остановившейся извозчичьей тележки. Обе они очень хорошо знали, что приехал именно тот, кого они ждут.

В передней послышались шаги. Девушки переглянулись, как будто желая сказать друг дружке: «это он, я так и думала».

Вскоре этот «тот» появился в комнате и, остановившись у двери, молча поклонился сперва по направлению к дивану, потом к столу. Эмилия, сидевшая у стола, сейчас же встала и подошла к вошедшему.

Пожав ей руку, он довольно холодно сказал: «Здоровы ли вы, Эмилия?» Девушка поблагодарила за внимание и снова скромно се-

ла у стола.

— Эмилия, поправь свечу, — послышался голос с дивана, — она так нагорела, что я не вижу даже пане коханку Лубенецкого.

Эмилия, привстав, торопливо начала поправлять нагоревшую восковую свечку, а «пане коханку» подошел к дивану.

— Вы забываете, панна Антонина, — заговорил пане коханку на чистом русском языке, — что мы в России и что я московский мещанин Федор Андреев.

— Москаль! — воскликнула панна Антонина. И еще — Федор Андреев!

— И кроме того — содержатель кофейни, стало быть — торгаш.

— Фи, совсем гадко! Позвольте мне называть вас по-прежнему паном Лубенецким.

— Для чего?

— Я так хочу! Иначе с вами и здороваться не стану.

— Хотите?

— Хочу, слышите ли! — капризничала молоденькая панна.

— В таком случае я согласен... хотя бы, откровенно говоря, я и не хотел этого.

— А почему?

— По очень простой причине. Я — московский мещанин Федор Андреев и хочу им быть, иначе...

— Иначе?.. — шалила Антонина, плутовато прищуривая один глазок... — иначе... договаривайте, что иначе?..

Пан Лубенецкий оглянулся на Эмилию. Эмилия сидела и, по-видимому, была занята чтением лежавшей перед ней книги.

— Иначе дело будет плохо, потому что...

Пан Лубенецкий недоговорил и выразительно посмотрел на панну Грудзинскую...

— Секрет? — спросила она.

— Отчасти.

— О, на этот счет будьте покойны. Кроме наших ушей, никаких других ушей тут не имеется. Неужели вы думаете, пан Лубенецкий, что я не научилась в Варшаве быть осторожной.

— Верю... но...

— Я вам приказываю... слышите ли, приказываю, пан Лубенецкий, чтобы вы были у меня тем, что вы есть!..

— Это несколько трудновато, — улыбнулся

пан. — Перед тем как мне быть мещанином Федором Андреевым, я был стамбульским брадобреем Хаджи Хубабат-Назари. Перед ним я носил имя благородного польского шляхтича Владислава Лубенецкого и сражался под знаменами Костюшко в чине офицера польской артиллерии... Раньше того...

— Довольно! Довольно! — остановила его миленькая панна.

— Чем же, однако, прикажете мне быть?

— Будьте тем, кем я вас узнала.

— Именно: благородным польским шляхтичем Владиславом Лубенецким.

— Да!

— И прекрасно. Но в таком случае позвольте уж и мне именовать вас, панна, так, как я привык именовать и как мне нравится... Антосей...

— Кто же вам запрещает?.. Именуйте!..

— О, если так, то повелевай мною, прелестная панна Антося!

— Повелеваю! — весело засмеялась девушка и, вскочив с дивана, далеко не по-женски схватила Лубенецкого за руку.

— Здравствуй, милый мой Владислав!

Вместо ответа Лубенецкий наклонился и приник губами к маленькой ручке панны Грудзинской. Поцелуй его был долог и горяч. Видимо, он был доволен этим свиданием. В свою очередь, и молодая девушка была ему рада. Лицо ее вдруг покрылось легким румянцем, а губы, маленькие, несколько пухловатые, сложились в приятную и милую улыбочку, в ту улыбочку, которая так очаровательна у красавиц, несмотря на то, что за ней часто скрывается самое чистое, самое прекрасное целомудрие...

V

Пан Лубенецкий и панна Грудзинская, — теперь мы будем так называть их, — познакомились перед этим года за два, в Варшаве, и познакомились при несколько странных обстоятельствах.

Пора знать, что пан Лубенецкий был вовсе не пан и не стамбульский брадобрей Хаджи, он просто был галицкий еврей, родившийся в Кракове. Умный, расторопный, он с детских лет попал в распоряжение людей, которые сделали из него человека, способного на все руки. Он отличался особенным знанием язы-

ков и во всяком обществе умел держать себя с замечательным тактом. Кто не знал его, тот никогда бы не сказал, что он еврей. Пан Лубенецкий скорее походил на уроженца Андалузии. С черными, как смоль, волосами, с быстрыми пронизательными глазами, смугловатый, ловкий, находчивый, он на всех, кто с ним встречался, производил самое приятное впечатление. В двадцать лет он уже был настоящим героем. Он побывал в Париже, Венеции, Лондоне, заглянул в Мекку, прокатился по Босфору в Константинополь, полюбовался на Неву в Петербурге, был в Московском Кремле и хотел уже отправиться в Америку поискать счастья в Северных Штатах, которые только что освободились от английской зависимости, как одно обстоятельство заставило его оставить это намерение.

11 мая 1793 года последовал второй раздел Польши.

Раздел этот сильно взволновал польских патриотов. Они образовали из себя небольшой круг и приглашали к себе представителей из разных сторон Речи Посполитой для того, чтобы составить план общего восстания

для освобождения Польши как от присутствия иноземцев, так и от влияния господствующей партии.

Главой этого восстания был избран знаменитый Костюшко, литвин родом, бригадный генерал Соединенных Штатов и кавалер ордена Цинцината. В марте месяце следующего года Костюшко приехал в Краков и был объявлен диктатором. Заняв диктатуру, он издал прокламацию, в которой всю польскую молодежь, без различия звания, призывал к оружию.

Имея некоторые данные считать себя польским патриотом, галицкий еврей под именем Владислава Лубенецкого поступил в ряды ополченцев Костюшко и сопровождал его в Варшаву. Не столько военными доблестями, сколько умением найтись в трудных обстоятельствах, пан Лубенецкий и среди воинов был отличен перед другими и получил чин капитана польской артиллерии. Костюшко, награждая Лубенецкого этим чином, проговорил: «Я даю тебе чин моего отца, помни это».

Может быть, пан Лубенецкий пошел бы и

далее на попреще войны за свободу Польши, если бы с разбитием Костюшко под деревней Мацейовице и взятием его в плен не кончились и успехи Польши.

Пан Лубенецкий был свидетелем этого кровавого поражения и едва спасся от русской пули.

Вскоре после этого он гранил уже мостовые Парижа; носил синюю куртку на спине и толстую палку в руках. В Париже он видел первые успехи Наполеона и один из первых поступил в число его многочисленных агентов, когда запахло неизбежной войной с Россией. По этому случаю в начале 1809 года пан Лубенецкий получил от надлежащего начальства приказание отправиться в Польшу и Россию, организовать кружок и агитировать там в пользу Наполеона в среде низшего класса общества. Изобильно снабженный инструкциями и деньгами, под именем какого-то французского чиновника он не замедлил появиться в Варшаве.

Тут-то он и познакомился с панной Грудзинской, которой шла тогда восемнадцатая весна.

VI

Польша всегда славилась молоденькими и хорошенькими женщинами. «Нет на свете царицы краше польской девицы», — сказал Пушкин в одном из своих стихотворений и, как истинный художник, не ошибся. В самом деле, ни одна страна в Европе не может представить ряда таких красавиц, каких представляет Польша. В Дрезденском дворце есть одна зала, наполненная портретами хорошеньких женщин, преимущественно же польских красавиц. Галерею эту составил король Польши и Саксонии Август II, особенный почитатель женской красоты. Он собрал туда портреты всех красавиц, в которых он влюблялся и влюблялся, конечно, с полным успехом. Все эти женские личики, числом 117, смотря на любопытного посетителя из своих золоченых рам, веют на него какой-то чудной, какой-то обаятельной негой и заставляют отдать полякам предпочтение перед другими прелестницами мира.

Как природная варшавянка, и панна Грудзинская была прехорошенькой панной, и живи она во времена Августа II, портрет ее

непременно был бы лучшим украшением галереи короля-счастливицы и занял бы место наряду с портретом лучшей красавицы Генриетты Дюваль, семнадцатой любовницы короля.

Панна Грудзинская с прихотливым искусством умела убирать свои пышные каштановые волосы, выбирать цвета для одежды, которые бы шли к ее кругленькому, с легким оттенком загара личику и к ее вздернутому носику, умела соразмерно стягивать свою миленькую талию, умела смеяться, улыбаться, танцевать, веселиться, любезничать, словом — умела делать все то, что так в женщинах нравится мужчинам. В довершение всего этого у нее был еще и очень приятный, умевший быть гибким и вкрадчивым голосок. Она даже пела недурно и с чувством. Одного только не имела панна Грудзинская, а именно — денег, денег, которые так необходимы, чтобы вполне быть очаровательницей. Подполковник польских улан Донат Грудзинский, умел быть храбрецом, не умел, однако, скопить для дочери на черный денек лишнего злата. Он только и оставил ей какой-то небольшой

фолькарок, за который арендаторы платили самую ничтожную сумму. А между тем панне Грудзинской хотелось пожить в полное свое удовольствие. Что делать? Панна Грудзинская, посредством евреев, начала прибегать к займам. Займы эти были весьма ничтожны и, следовательно, не достигали своей цели. Надо было искать новых средств.

Случай помог ей в этом отношении.

На одном балу, разодетая на последние злоты, панна Грудзинская встретила с паном Лубенецким. Знакомство их завязалось очень просто. Пан Лубенецкий сделал ей какую-то незначительную услугу и разговорился. Как человек сообразительный, Лубенецкий сразу разгадал молоденькую девушку и понял, что ей, собственно, надобно. На другой же день он явился к ней. Панна жила бедно и потому очень сконфузилась, когда увидела перед собой вчерашнего знакомого: забегала, засуетилась, стараясь скрыть голую бедность. Но пан Лубенецкий так умел держать себя и так умел не замечать окружающей его нищенской обстановки, что панна Грудзинская вскоре оправилась и даже под конец развесе-

лилась. Пользуясь болтливостью панны, Лубенецкий свел незаметно разговор на общую тему о бедности и богатстве. Панна, разумеется, начала жаловаться, а пан, качая головой, соболезновать, что такая красавица и терпит такую нужду. Панна Грудзинская заметила какой-то особенный тон в речи пана Лубенецкого и, в свою очередь, свела речь на займы. Слово за слово, и пан Лубенецкий предложил хорошенькой девушке займы довольно крупную сумму. Панна вскрикнула от восторга. Но пан Лубенецкий несколько охладил ее восторг, сказав, что и он тоже кое-чего потребует от панны. Молодая девушка вспыхнула. Пан Лубенецкий был, однако, не особенно требователен. Требование его заключалось в том, чтобы вместе с ним агитировать в пользу Наполеона. Девушка подумала и согласилась, тем более что она была рьяной полькой и рьяной почитательницей Наполеона, на которого все поляки смотрели в то время, как на восстановителя Польши. Пан Лубенецкий, вручая панне Грудзинской более той суммы, которую он обещал, заметил:

— Панна никогда не будет нуждаться в

деньгах, у панны будет свой дом в Варшаве и Москве. Но только пусть не забывает панна, что все действия ее будут известны и что, если она обманет доверие, с нею будет поступлено весьма и весьма строго.

Кроме этого, он предупредил молодую девушку, что она, если понадобится, должна кое-чем и пожертвовать...

— А чем, например? — спросила, несколько конфузясь, панна.

— Всем, — отвечал лукаво пан Лубенецкий, — но только не тем, что для панны особенно дорого.

— Согласна, — проговорила девушка, — вот вам моя рука, что я буду одной из лучших слуг Наполеона.

Пан Лубенецкий поцеловал эту руку и еще раз напомнил, что в деньгах панна нуждаться не будет и что все блага земные — к ее услугам.

И действительно, в скором времени у панны Грудзинской был уже свой прехорошенький домик, отделанный во вкусе Людовика XIV, был свой экипаж, свои слуги, гайдуки, и вся Варшава заговорила о появлении ее в луч-

ших салонах тогдашнего варшавского общества. Панна Грудзинская в очень короткое время заняла первое место между красавицами Варшавы. Все, что только существовало в Варшаве высшего или имеющего влияние, было ей знакомо и преклонялось перед ней. Как звезда, она появлялась повсюду, как нечто высшее, она царила везде. Разумеется, нашлось много соперниц, завистниц, но панна Грудзинская оставалась непобедимой и еще больше приобретала поклонников своей красоты. Вместе с поклонниками своей красоты она приобретала и поклонников политики Наполеона. Редко кто ускользал из рук очаровательной варшавянки, и в своей памяти она много уже наметила жертв, которые подчинились ее влиянию и по одному слову ее готовы были решиться на что угодно.

VII

Пан Лубенецкий, открывший в Москве под именем Федора Андреева кофейню, не переставал переписываться с прелестной волшебницей и радоваться ее успехам. Наконец, он захотел повидать ее; купил для нее в Москве довольно порядочный домик и пригласил

приехать. Панна Грудзинская не замедлила появиться в Москве. Таким образом, в течение года она появлялась несколько раз, проживая по нескольку недель. В это время между нею и паном Лубенецким шли самые оживленные советы относительно обоюдных действий.

Во второй половине 1811 года пан Лубенецкий получил приказание все свое внимание обратить на Москву и действовать, не пренебрегая средствами, на толпу, особенно же на учащуюся молодежь.

Пану Лубенецкому нужен был помощник, и он немедленно пригласил панну Грудзинскую, которая, быстро собравшись, приехала и теперь вот стоит перед паном Лубенецким, сложив пухловатые и милые губки свои в девственно-восхитительную улыбочку...

Немало удивленный такой улыбочкой, пан Лубенецкий ждал, что панна скажет...

Хорошенькая панна, однако, ничего не говорила, как бы стараясь продлить нахлынувшее на нее чувство удовольствия и молча наслаждаться им.

Такой поступок панны сильно удивил Лу-

бенецкого: никогда ничего подобного не было с ней.

Правда, девушка, силой обстоятельств поставленная в положение быть с ним, как говорится, на «короткой ноге», хотя и держала себя в его присутствии довольно свободно, не по-женски, но все-таки как девушка она всегда стояла для него на известной высоте и, несмотря на подчиненность, пользовалась долей полной самостоятельности.

Лубенецкий понимал это и, не желая лишиться такой помощницы в своих предприятиях, вовсе не злоупотреблял властью и оставался с девушкой в коротких, но почтительных отношениях.

Слов нет, ему приятно было встречать хорошенькое личико панны, приятно было облобызать маленькую, пухлую ручку, приятно было, наконец, поболтать с нею, но — не более того. Далее желания его не простирались, хотя иногда при встречах глаза его и выражали «нечто» такое, что говорило о чем-то особенном. Но это «что-то особенное» выражалось у Лубенецкого неожиданно и так быстро исчезало, что даже сама панна, обладавшая

немалой долей девической прозорливости, не замечала этого и сначала, по свойственному всем женщинам капризу, сердилась, что он как будто не замечает ее и ограничивается чисто деловыми отношениями.

Панна Грудзинская принадлежала к тому роду хорошеньких и восхитительных созданий, которые, будучи избалованы судьбой за свое миленькое личико, делаются чудными деспотами и не могут помириться с тем, что, увы, всему есть мера и место. Подобным очаровательницам кажется, что все должно перед ними преклоняться, и преклоняться для того, собственно, чтобы они имели лишний случай порисоваться и показаться неприступно-целомудренными.

Принадлежа к такого рода капризницам, Грудзинская везде, где могла, пользовалась своим правом, но перед паном Лубенецким, несмотря на его кажущуюся незначительность, она в этом отношении уступала и не знала, чему это приписать.

Например, вполне от нее зависело не приехать в Москву, а между тем она приехала и даже как-то особенно торопилась не опоз-

дать, и торопилась в то время, когда она так уже привыкла блистать в Варшаве, что казалось, покинуть Варшаву было для нее равносильно изгнанию.

Всю дорогу панна; обдумывала, что бы это такое значило, и наконец, в виду самой Москвы решила, что пан Лубенецкий очень красивый мужчина и что она, панна, не прочь приласкать его...

Лубенецкий действительно был красивый мужчина и, кроме того, ему не было еще и пятидесяти лет.

Грудзинская не могла не заметить этого.

Вглядываясь в его бодрое, энергичное лицо, прелестная варшавянка нашла даже, что он похорошел в Москве.

Вот причина, почему она встретила Лубенецкого такой милой, такой очаровательной улыбочкой.

Счастливец намотал себе это на ус, не подавая, впрочем, ни малейшего признака, что он замечает шаловливость панны.

А панна стояла и улыбалась.

«Она, однако, восхитительна», — подумал Лубенецкий и еще раз прильнул губами к ее

маленькой ручке.

— Ах, как вы крепко жмете, пан Лубенецкий! — произнесла она вдруг тихо и кокетливо, отдергивая лобызаемую ручку... — Довольно... будет... Подите и садитесь... Я велю сейчас приготовить для вас кофе.

Грудзинская посмотрела в сторону Эмилии.

Эмилия поняла взгляд панны и сейчас же вышла.

Лубенецкий подошел к столу и сел на место Эмилии.

Панна снова опустилась на диван.

Взглянув на нее сбоку, Лубенецкий слегка улыбнулся. Какая-то мысль мелькнула в голове его. Грудзинская заметила улыбку.

— Что это значит, пан? — спросила она, оправляясь на диване. — Вы улыбаетесь... и как-то особенно... странно...

— Улыбаюсь... по очень простой причине.

— А по какой?

— Вы предложили мне кофе...

— Ну?

— А знаете ли вы, что моя кофейня в Москве считается одной из лучших...

Девушка не ожидала такого ответа.

— Что ж из того! — промолвила она совершенно безучастно.

— Ничего особенного... только... знаете ли... вы никогда не подадите мне такого кофе, какой я подаю своим гостям на Ильинке.

— Не удивительно... ведь вы турок, — засмеялась вдруг панна...

— Турок не турок, а посетители от меня без ума... могу похвастать... В моей кофейне бывает иногда настоящая ярмарка... И знаете ли что, панна Антонина?..

— Что?

— Мне иногда кажется, что быть торговцем — мое настоящее призвание.

— Неужели?.. Вот любопытно!.. Хотела бы я посмотреть на вас в вашей кофейне. Должно быть, это очень занимательно!..

— О, еще как! — подхватил Лубенецкий. — Но шутки в сторону, панна... Теперь не до шуток... Нам предстоит очень важное дело...

— Ах, вы все с делами, Лубенецкий! — воскликнула, точно обидевшись, Грудзинская. — Не успела приехать, отдохнуть с дороги, а вы уж с делами! Как будто мы только для одних

дел и живем... ничего другого, кроме дел, и не существует...

— Надо сознаться, панна, что это так. Но вы не беспокойтесь... дело наше еще впереди... и вы отдохнете вволю...

— Да, да, я хочу отдохнуть!.. И вы, пожалуйста, пока не беспокойте меня своими делами...

— И не буду, и не думаю беспокоить... Имею, ли я на это право... Кроме того, дела, о которых я хочу говорить, собственно, и не дела... это скорее — удовольствие... Родина для каждого из нас дорога... а тут дело идет о родине... Мы должны, насколько возможно, заботиться о сохранении прав своей родины... Польшу окружили враги: Русь и Пруссия... Пользуясь нашей минутной неурядицей, они разделили нас как добычу... Что же мы должны делать? Неужели смотреть на все, сложа руки... О, нет! Это невозможно!.. Мы должны защитить себя... Теперь самая удобная минута... Адам Чарторыйский действует при Александре... Наполеон обещает нам самостоятельность.

— Послушайте, — перебила его Грудзин-

ская, — ведь вы не сомневаетесь во мне?..

— О, нисколько!..

— В таком случае позвольте мне сказать вам истину...

— Говорите, панна...

— Скажите мне, пожалуйста, пан Лубенецкий, о чем вы хлопчете?

Лубенецкий удивленно поднял глаза:

— Как о чем?

Панна прищурила правый глазок и сложила свои губы в вопросительную улыбочку...

— Да... о чем?..

— Мне странно... — начал Лубенецкий, несколько заминаясь... — Такой вопрос... Вам пора бы знать, что дело наше общее... что мы идем по одному пути... Вы, наконец, столько же знаете, сколько и я... Вы посвящены во все тайны нашего дела...

— А все-таки я не знаю, о чем вы хлопчете, — настаивала панна...

— Гм... вот как! — промычал Лубенецкий и подумал: «Она смела, однако, и я чувствую, что начинаю ей подчиняться...»

— Что же вы молчите? — продолжала она, — я жду ответа...

— Панна, вы удивляете меня...

— Чем?

— Своим вопросом, разумеется.

— Так мой вопрос нелеп! — воскликнула панна. — Да?

— Я не говорю этого.

— Так думаете, по крайней мере... А почему, вопрос самый простой... Мы не в Варшаве, пан Лубенецкий, и не под надзором высших агентов, чтобы нам корчить друг перед другом дурацкую комедию. Мы в Москве, где я, признаться, хочу пожить на свободе, не стесняясь своими действиями... Советую и вам поступать таким же образом, и для этого я вас избираю своим рыцарем... Слышите ли, пан Лубенецкий, я вас избираю своим рыцарем!

Последние слова панна проговорила несколько растягивая, с прямой целью обратить на них внимание.

Но и без того пан Лубенецкий понял каждое ее слово и остался панной очень доволен.

Одно только смутило его — это легкомысленный взгляд ее на дело, которое он считал чем-то нераздельным со своей натурой.

Надо заметить, что пан Лубенецкий, как агент французского правительства, занятию своему был предан искренне. В этом занятии, кроме довольно значительного содержания, его интересовал и самый процесс шпионства. Тут жидовская природа его сказалась вполне. Щедро наделенный от природы способностью, или шестым, так сказать, инстинктивным чувством, вроде чутья, отыскивать жертву, распознавать ее в толпе, он, действительно, приносил пользу всякому, кому служил, и тем более польза эта была ощутительна, что он вращался в низшем классе общества и распускал какие угодно слухи. Ничего святого для него не существовало. Не существовало даже религии, которую в большинстве случаев дорожат даже и самые отъявленные негодяи. Кроме этого, натура Лубенецкого была замечательно растяжима, так что он, по мере надобности, делался то глупым, то умным, то расторопным. Он довел все это до такого совершенства, что иногда и сам сбивался с толку, не зная — хитрит ли он или поступает сообразно со своими чувствами. Чувств у него, однако, было мало, если под чувствами разу-

меть нечто лучшее. Это скорее была ходячая машина, впрочем, энергичная и осмысленная. При других обстоятельствах из Лубенецкого вышел бы, может быть, очень и очень порядочный человек, но жизнь его сложилась в такую форму, что он стал служить подлым орудием для других.

Он и служил этим «другим» по-своему, честно и добросовестно.

После этого не удивительно, что речь панны, речь той панны, которую он, можно сказать, поставил на ноги, которую он, можно сказать, спас, несколько смутила его.

Чувство «честного» отношения к делу заговорило в нем.

«Надо отстранить ее, — подумал он, — она не благонадежна». Но другое чувство подсказало ему иную думу. Оно говорило: «смотри, какая она милая и хорошая девушка... и ведь она твоя... протяни руку, и твоя, только протяни...»

Руки пан Лубенецкий не протягивал, но на девушку посмотрел с особенным вниманием.

Панна Грудзинская в эту минуту полулежала на диване в самой предательской позе.

— Хорошо, панна, — проговорил он, любуясь ее соблазнительной фигуркой, — я буду вашим рыцарем... но... только... не более того...

— О, и этого довольно! — воскликнула Грудзинская, быстро спрыгнув с дивана. — Довольно и этого!.. и потому довольно, что пан понял меня... Пан понял, что я хочу в Москве повеселиться так же, как в Варшаве... Говорят, что здесь любят полек и предпочитают их своим... О, как это, должно быть, хорошо!

— Не знаю... может быть, и хорошо.

— Не знаю, может быть, и хорошо! — передразнила его панна. — Что это за тон такой, пан Владислав! — кокетничала она, став в позу, — я вам приказываю быть веселым, говорливым, расторопным! Слышите ли, приказываю!

Лубенецкий встал и слегка наклонил голову.

— Панна, я к вашим услугам.

— Только-то!

— Чего же больше?

— Мало мне этого!

С этими словами панна вдруг захохотала и

снова кинулась на диван.

Лубенецкий стоял и любовался ею.

Он был застигнут врасплох и не знал, какую роль принять на себя: или быть холодно-рассудительным, или выказать себя светским человеком, или, наконец, изобразить из себя какого-нибудь любовника.

Ни того, ни другого, ни третьего он не предпринял. Он только чувствовал, что с этой минуты начинает принадлежать не себе и не может оторвать глаз от этой очаровательной хохотуни.

А хохотунья очаровательная в это время думала: «Решено... он принадлежит мне... Как, однако, мало надо для того, чтобы мужчина преклонился перед женщиной...»

Через минуту пан Лубенецкий стоял уже на коленях перед панной и с особенным наслаждением лобызал ее ручку...

Панна ему не препятствовала.

VIII

Начинало рассветать, когда Лубенецкий вышел от Грудзинской.

Он вышел от нее в каком-то угаре. Однако не забыл остановиться у ворот, чтобы оки-

нуть переулком глазами. Переулок, разумеется, был пуст. Раннее холодноватое августовское утро никого еще не подняло. Да и днем редкий пешеход заглядывал сюда.

Разве продребезжит извозчичья тележка или прокатит помещичья бричка — вот и все оживление переулка. Но пан Лубенецкий был травленный волк, и осторожность, по его мнению, нигде не могла быть лишней.

Постояв с минуту у ворот, он, на манер испанца, прикрыв лицо широким кафтаном, повернул налево и пошел переулком к Арбату.

Размышляя о происшествиях прошлой ночи, особенно же о панне Грудзинской, с которой он вдруг нежданно-негаданно стал в совершенно новые отношения, Лубенецкий незаметно очутился сперва на Моховой, потом у Боровицких ворот.

Но только что он начал приближаться к воротам, чтобы Кремлем пройти на Ильинку, как перед ним, точно из-под земли, появилась какая-то маленькая фигура мужчины.

Лубенецкому фигура эта показалась несколько подозрительной, и он, как бы невзначай, прогуливаясь, повернул налево,

думая пройти Троицкими воротами, хотя путь к ним был и не особенно удобен: в то время около Кремля были чуть ли не болота.

Фигура мужчины, не прибавляя и не убавляя шагу, повернула туда же.

Лубенецкий замедлил ход, желая пропустить ее вперед. Но фигура и не думала обогнать его. Напротив, шедший, видимо, старался поравняться с ним.

Опытный в подобного рода встречах, Лубенецкий остановился и приготовился, если понадобится, дать отпор.

Фигура медленно приблизилась к Лубенецкому и шагах в двух остановилась перед ним, придерживаясь за карман.

Фигура эта была — небольшой человек с толстым брюхом и короткой шеей, в синем плаще и такого же цвета картузе.

«Так, дурак какой-нибудь», — подумал Лубенецкий и, искоса поглядывая на него, пошел далее.

Пошел за ним и толстобрюхий человечек.

Через шагов двадцать они поравнялись.

— Послушайте, — начал вдруг каким-то чиновничьим, заискивающим тоном челове-

чек, слегка трогая Лубенецкого за плечо, — я вас, кажется, знаю...

Лубенецкий остановился и окинул незнакомца с ног до головы испытующим взглядом...

— Да, да, именно знаю, — продолжал, как бы что-то соображая, незнакомец.

Пан Лубенецкий припомнил, что он не пан Лубенецкий, а московский мещанин Федор Андреев, содержатель кофейни, и вошел в подобающую ему роль.

— О, о, и я помню! — начал он, стараясь кривлять слова... В кофейне... у меня... кофе пил... Хороший кофе...

— Как же, пил... пил... кофе отличный!.. Это на Ильинке?

— О, да, да! — качал головой Лубенецкий.

— В доме Плотникова?

— Плотникова, Плотникова.

— Знаю... знаю... Как не знать!.. Ведь ты Федор Андреев... из турок?

— Из турок... из турок... да, да...

— Ага! — протянул незнакомец и как-то особенно вскинул глазами на Лубенецкого.

Лубенецкий заметил странный, мигаю-

ций блеск в красных, опухших глазах незнакомца, и благоразумие подсказало ему, что он должен быть осторожным.

— То-то, вот гляжу... знаком, знаком, — продолжал толстобрюхий человек, не сводя с Лубенецкого глаз.

Лубенецкий, в свою очередь, глядел в оба глаза на незнакомца.

— А скажи, пожалуйста, почтеннейший Федор Андреевич, — начал, растягивая слова, незнакомец, — ты не знаешь ли какого-нибудь... ну хоть... Владислава Лубенецкого?

Лубенецкий вытянулся и вздрогнул.

— Как, братец, не знать! — заговорил он вдруг чисто по-русски. — Знаю!

— Ага, знаешь! — улыбнулся ядовито толстобрюхий человек. — Я так и думал, знаешь... Еще бы... не знать!

— А вот и ты теперь узнаешь его! — неожиданно прохрипел пан Лубенецкий, и две руки его быстро протянулись к незнакомцу, чтобы схватить его за горло...

Но тот давно уже был настороже... Длинный, хорошо отточенный кинжал сверкнул у груди Лубенецкого...

Лубенецкий отшатнулся.

IX

Галицкий еврей вовсе не принадлежал к числу людей робких, хотя в то же время его нельзя было назвать и особенным храбрецом. У него, правда, не было пылкой, порывистой храбрости, но зато было много сдержанности и холодности, какие, как известно, мало чем уступают ей. Не храбрец в прямом смысле слова, он, однако, участвовал в самых жарких схватках под знаменами Костюшко, сталкивался с ужасами террора в Париже и везде умел казаться тем, что внушает к личности невольное уважение и даже некоторого рода трепет.

Если же Лубенецкий отшатнулся перед оружием незнакомца, то вовсе не потому, что оно, оружие это, устрасило его, а просто потому, что проходимец был удивлен неожиданностью и той чисто мошеннической проворностью, с которой маленький человек подсунил ему под нос смертоносную сталь.

Со стороны Лубенецкого был сделан промах, за который он тут же мысленно и выругал себя.

Он не прощал себе глупого движения — схватить толстененького человечка за горло и кинуть на землю, — но в то же время он и не мог поступить иначе, потому что этот человек был почему-то в его глазах так гадок, низок, отвратителен.

Сам плут и видевший на своем веку немало плутов, Лубенецкий сразу умел угадывать, по выражению лица, к какой породе хищников принадлежит данная особа.

В особе незнакомца он моментально уловил то, что называется «канальей» и «себе на уме».

В свою очередь, и толстененький человечек, видимо, очень хорошо знал, с кем имеет дело и что такое за гусь пан Лубенецкий.

Оказалось, что сошлись именно два гуся, или, как говорится, дока на доку нашел.

С минуту они измеряли друг друга взглядами, как бы желая найти друг у друга слабые стороны, за которые можно было бы уцепиться и с большей силой поразить друг друга. Так иногда сходятся две злые и сильные собаки: оцетинятся, оскалят зубы, ворчат, смотрят друг на дружку и не трогаются с места, но

вдруг, где-нибудь в стороне, раздается звук — шум, крик, движение, каждому из противников кажется, что трогается именно враг, и между ними начинается отчаянная свалка.

Нашим противникам ничего подобного не угрожало, и поэтому они могли следить друг за другом сколько им было угодно.

Они и следили.

Но всему бывает конец.

Им надоела эта напряженная созерцательность, созерцательность отчасти бесцельная, и у каждого из них явилось намерение «объясниться».

Толстенский человек начал первый.

— Что же вы испугались, пан? — заговорил он-как-то особенно неприятно. — Признаюсь, я считал вас храбрее. Вы просто испортили о себе мое мнение. Я считал вас, знаете ли, более достойным себе соперником.

— А вы... кто такой? — спросил Лубенецкий, стоя шагах в двух от незнакомца.

— Я? — прищурился тот.

— Да, именно вы.

— Во-первых, не разбойник, на всякого встречного, как зверь, не кидаюсь, во-вторых,

человек весьма веселый.

— Только-то!

— Совсем не только-то. Но какой вы, однако, любопытный, пан. Я этой бабьей привычки за вами не замечал.

— Так вы, стало быть, следили за мной?

— Нельзя сказать, чтобы — да, нельзя сказать, чтобы — нет. И то, и другое.

— Вы — сыщик?

— А вы — жид?

— Жид... — помолчав, процедил сквозь зубы Лубенецкий.

— А я — сыщик! — отрезал толстенький человечек. — Ну, а как меня зовут, вы знаете, пан?

— Нет, не знаю.

— Странно, как это вы меня не знаете, — закачал головой толстенький человечек. — Меня вся Москва знает, а вы не знаете, вы — человек, прошедший огни и воды, человек, успевший в двадцать лет переменить двадцать фамилий, двадцать народностей, даже, может быть, двадцать религий... И вы меня не знаете!.. Стыдно, стыдно, пан!

— Вы напрасно пересчитываете все мои

достоинства, таинственный незнакомец, — ответил Лубенецкий, — я вас не боюсь. Я для всех московский мещанин Федор Андреев, перекрещенец и, стало быть, имею общественное положение, которое делает жизнь мою безопасной от всякого рода проходимцев. Прошедшее мое никому не нужно. Я мог быть жидом, поляком, турком, кому какое дело, но теперь я — московский мещанин, и этого довольно, чтобы я мог считать себя в безопасности и даже честным человеком.

— И даже честным человеком! — удивился незнакомец. — Ого! Не жирно ли будет, пан, не облопааетесь ли! Впрочем, не знаю, как у вас там в Польше, а у нас в Москве честные люди за горло первого встречного не хватают... Да-с, государь милостивый, не хватают!..

— Но зато не втираются туда, где их вовсе не спрашивают...

— Отчего же иногда соколу и не залететь в воронье гнездо!

— Слепший сокол хуже вороны.

— Вот как! — язвительно улыбнулся толстенный человечек. — Ну, а мне думается... мне думается, что это не так... Да что много

толковать, пан поляк! Мы не философы какие-нибудь и нам нечего друг другу шпильки запускать. Будем говорить проще, по-нашему, по-московскому... Прежде всего, я человек простой, поэтому попросту и говорить буду. Не думаете ли вы, пан поляк, что вы в безопасности?

— Разумеется, думаю...

— О, нет, далеко нет! Стоит только мне подать знак, и вас схватят и свяжут, как какого-нибудь двухмесячного ягненка.

— Будто?

— Верно! Но вот, как видите, я добрее вас. Я не подаю этого знака, а вы... вы хорохоритесь... и даже, подите, хотели задушить меня...

— Что же вам от меня надо, наконец? — спросил встревоженно Лубенецкий.

— Ничего особенного, друг мой. Я не в вас. Я человек далеко не требовательный. Я простой человек. Мы вот пройдемся с вами, и только, да еще, пожалуй, поговорим кое о чем. Но предупреждаю вас, ясновельможный пане, не будьте строптивы. И кроме того, не забывайте, что вы все-таки московский мещан-

нин, а я, как бы там ни было, в некотором роде особа...

— И прибавьте — особа таинственная, — некстати улыбнулся Лубенецкий.

— Вовсе не таинственная, — отвечал толстенький человечек. — Вы, пан, куда таинственнее меня. Я только старый воробей, жизнь которого исковеркана более чем следует. Вы вот, может быть, немного моложе меня, и, вишь, какой молодец, не мне чета!.. А я что! Тряпка тряпкой: и сед, и толст, и некрасив... Вообще, хоть и особа, но особа не особенно-то мудреная...

— Что же вы именно за особа?

— А вы хотите знать? Извольте, я удовлетворю ваше любопытство. Я — следственный пристав, титулярный советник Гаврила Яковлевич Яковлев, — отвечал вопрошаемый, слегка наклоняя свою стриженую голову. — Не более того.

— Яковлев? — удивился Лубенецкий.

— Яковлев-с, собственной своей персоной, Яковлев-с, как видите, — подхватил толстенький человечек, видимо наслаждаясь впечатлением, которое он произвел на Лубенецкого.

Понаслышке Лубенецкий давно знал Яковлева.

Не раз приходилось Лубенецкому слышать о подвигах этого сыщика, который был грозой для всякого рода преступников. Но Лубенецкий никак не предполагал, что человек, наводивший ужас на самых закоренелых негодяев и убийц, был с виду такой невзрачной и даже такой преглуповатой личностью. Хитрому пану казалось, что такие геройские подвиги, какие совершал Яковлев, должны были и родиться не иначе, как в таком же геройском теле. А тут выходило совсем не то.

Много раз Лубенецкому хотелось даже увидеть Яковлева, этого героя Москвы, но по разным обстоятельствам ему как-то не удавалось это.

Плут по призванию, Лубенецкий хотел сравнить себя с другим таким же плутом, о котором ходила такая громкая и такая лестная молва в народе.

И вот вдруг нежданно-негаданно этот самый плут стоит теперь перед ним и как бы наслаждается его, Лубенецкого, смущением.

В глубине души своей Лубенецкий почув-

ствовал нечто вроде зависти к видимому и неоспоримому превосходству московского сыщика, но тем не менее все-таки с достоинством держал себя перед ним.

— Яковлев?.. — как бы вопрошал он сам себя, — Яковлев?.. Слышал про Яковлева... слышал...

— Даже много раз видел, — произнес Яковлев, посмеиваясь, — и даже много раз меня кофейком своим отличным потчевал.

— И то может быть, — достойно отговаривался Лубенецкий, — у меня посетителей бывает так много, что, право, трудно запомнить всякого.

— А меня бы вам запомнить не мешало, почтеннейший, я человек для вас полезный, весьма даже полезный.

— Уж и полезный!

— Узнаете — оцените.

— Очень было бы приятно...

— Я не в вас... Я даже обиду забываю... Вот какой я человек добрый, не то что вы!.. Впрочем, довольно об этом... Пойдемте, потолкуемте по-дружески кое о чем, пан... Пожалуйста вашу руку.

Почти машинально Лубенецкий протянул ему руку.

Яковлев дружески пожал ее.

Это удивило Лубенецкого, но он промолчал.

— Надеюсь, — промолвил Яковлев, не выпуская руки Лубенецкого, — вы в другой раз из благоразумия не протянете эту руку к моему горлу... Да?

Лубенецкий сделал легкое наклонение головой, явно говорившее, что он сознает свой необдуманный поступок, извиняется, и, в свою очередь, пожал руку Яковлева.

— Вот и прекрасно! — проговорил Яковлев весело. — Я вас понял, и вы меня поняли. Худой мир лучше доброй ссоры. Но позвольте, и я даю вам честное слово, быть с вами честным человеком. Не думайте, чтобы у меня не было своих честных взглядов на дело. Узнаете меня покороче — удостоверитесь. Пойдем-те, однако. Видите, почти уже рассвело, и в кофейне вашей, вероятно, сидят уже ранние посетители. Пойдемте в вашу кофейню.

— Пойдемте, — согласился Лубенецкий. Новые приятели тронулись.

Так как путь их был недалек, то они вскоре и очутились на Ильинке, перед домом, где находилась кофейня Андреева-Лубенецкого...

Х

Слава Яковлева, как сыщика, прогремела в первой четверти нынешнего столетия по всей России.

Фамилия его была известна старому и малому, и притом в таком роде, что самые капризные и крикливые дети умолкали, если им говорили: «Идет сыщик Яковлев».

Яковлев служил в московской полиции; следственным приставом, но вообще был известен под названием московского сыщика и сохранил это название до гробовой доски, во все не гнушаясь им.

Гавриил Яковлевич Яковлев по происхождению был из военных кантонистов и службу свою начал аудиторским писарем. На поприще же сыщика он вступил в 1803 году и оставался им включительно до 1828 года.

В то время, о котором идет повествование, Яковлев только что вошел в славу.

Обуреваемый этой славой и желая еще больше отличиться перед начальством, он

употреблял все старания к отысканию каких-либо преступлений, не только совершившихся, но скрытых от правосудия, а даже и имеющих совершиться.

Случай натолкнул его на личность Лубенецкого, и он обеими руками ухватился за него.

Правда, Яковлев не знал за Лубенецким никаких преступлений, которые бы дали повод преследовать его, изощряя на то свои хищнические способности, но для Яковлева было довольно и того, что он узнал.

Он узнал, кем был и кем стал пан Лубенецкий, а это в глазах опытного сыщика было равносильно тому, что пан Лубенецкий — вор, убийца, заговорщик.

Не мог же, как думал Яковлев весьма основательно, человек ни с того ни с сего переменить три религии.

Осторожно, исподволь он начал искать случая встретить Лубенецкого наедине, врасплох.

Случай этот, как видите, представился и еще более убедил знаменитого сыщика, что за паном Лубенецким что-то водится.

Этот же случай навел и пана Лубенецкого на мысль, что про него кое-что знают и что он должен держать ухо остро.

Невзирая на взаимную подозрительность, пан Лубенецкий и Гаврила Яковлев вошли в кофейню как старые знакомые, друзья даже. Они весело разговаривали и смеялись, но в душе каждого из них была целая бездна мерзости, которую они сулили друг другу.

XI

В кофейне Лубенецкого никого не было, да и не могло быть. Шел пятый час утра. А в такую рань редко кто заглядывал туда.

Но в кофейне все уже было готово для приема посетителей: столы накрыты, трубки расставлены, стойка унизана грудой чашек и корзинок с хлебами, пол чисто выметен.

Кофейня Лубенецкого вообще отличалась чистотой, опрятностью и даже некоторого рода излишней роскошью.

Всему этому кофейня обязана была никак не самому Андрееву-Лубенецкому, который, собственно говоря, почти не занимался ею. Ему было не до кофейни. Занималась кофейней одна женщина, которую он выписал из

Варшавы. Она-то и была виновницей того, что кофейня Андреева в доме Плотникова славилась на всю Москву.

Лет ей было около сорока пяти.

Замечательно худощавая и длинная, она принадлежала к роду так называемых в Польше «кухместринь».

Тип «кухместринь» не исчез в Польше, да едва ли когда-либо и исчезнет. Это тип, выработавшийся годами и теми условиями, в которых находится католическое духовенство.

Католическое духовенство и есть именно то начало, которое создало их.

«Кухместринями» обыкновенно бывают дочери бедных шляхтичей и однодворцев, более или менее в молодости смазливенькие. С ранних лет они пристращаются к храму Божию и не пропускают ни одной «мши». В костеле они скромно усаживаются на скамейках, читают молитвенник и с нетерпением ждут обноса вокруг храма местной чтимой иконы «Матки Бозкой». Когда настает это время, они берут поочередно на свои юные плечи икону и считают за богоугодное дело и счастье нести ее. Ксендз-пробоц обыкновен-

но долее других исповедует этих юных модельщиц, ибо они сами жаждут этого, считая себя великими грешницами. Они раньше других приходят в храм, позже других уходят. Постятся не только по средам и пятницам, но даже по субботам и понедельникам, не говоря уже про Великий и другие посты, в которые они считают за грех даже посмотреть на молоко. Ксендз-пробоц почти всегда поощряет этих девушек-модельщиц в их христианских чувствах, и, в конце концов, они разбредаются по «плебаниям», чтобы служить ксендзам-пробоцам.

У ксендзов они в большинстве случаев так уживаются, что даже успевают забрать в свои руки не только ксендзовское хозяйство, но даже и самих ксендзов. Они так ловко ведут свои дела, что по смерти ксендза-пробоца все ксендзовское хозяйство непременно переходит к ним, нередко, разумеется, и с кое-каким другим, не особенно безгрешным прибавлением. Жизнь у ксендза-пробоца кладет на этих госпож совершенно своеобразный отпечаток, отпечаток вовсе не симпатичный. Какой бы у них сначала ни был добрый или про-

стой характер, но, пожив у ксендза, они с приобретением названия «кухмestрини» приобретают и замечательно злой и ехидный нрав. Кроме всего этого, из них вырабатываются очень дельные и экономные домоводки, почему они в зрелые года, невзирая на свой сухой нрав, втираются не только в средней руки дома, но и в дома аристократические, где делаются, как и у ксендзов, тоже полными домоправительницами, и домоправительницами необходимыми.

Для многих семей и отдельных личностей такого рода домоводки или ключницы так же необходимы, как хлеб и вода.

Если в дом вотрется такая женщина, которая знает, как надобно стлать и убирать постель, куда выметать сор, где класть грязное и где чистое белье, где держать серебро, как выпроводить кредитора, кого принять и кому отказать, — эта женщина тотчас же делается необходимой. Как бы она ни была гадка, скверна и отвратительна, хотя бы она всякий день воровала по рублю, господа ее любят, не могут обойтись без нее, при ней советуются, радуются, горюют. Она пронюхает все тайны

и всегда найдет какое-либо средство выпутаться из любого затруднительного положения. На нее сердятся, негодуют, бранят, нередко сталкивают с лестницы, а на другой день она подает отличный кофе, как ни в чем не бывало, и господа снова довольны ею.

Даже великие люди не избегают когтей этих домоводок. У каждого из них было что-либо подобное, и, замечательно, великие люди не стыдились быть перед ними слабыми, нерешительными, не боялись перед ними разговаривать с самим собою, грустить, трусить, приготовляться к известной роли, падать духом.

Пани Мацкевич, домоводка Лубенецкого, соединяла в себе все вышеописанные достоинства и потому была весьма замечательной хозяйкой.

Лубенецкий уважал ее, был с ней на дружественном «ты» и, надо правду сказать, иногда как будто несколько побаивался ее. Впрочем, они были довольны друг другом и жили согласно.

Когда Яковлев и Лубенецкий вошли в кофейню, пани Мацкевич уже сидела за буфе-

том и взяла свой неизменный чулок. При входе их она слегка привстала, поклонилась и снова села, углубившись в свою работу.

Лубенецкий ответил ей поклоном и мгновенно сделал, глазами какой-то знак.

Пани Мацкевич встрепенулась и взглянула в упор на Лубенецкого, но Лубенецкий в это время уже приглашал Яковлева войти в отдельную комнату.

— Милости просим, — говорил он, — вот сюда.

— Хорошо, хорошо, — бормотал Яковлев, беспечно направляясь в указанную комнату.

В ту минуту, когда Яковлев, по-видимому, совершенно не оборачиваясь, отворял дверь, Лубенецкий мгновенно проскользнул около буфета и сейчас же очутился около Яковлева.

Яковлев и Лубенецкий вошли в отдельную комнату, в которую последний впускал только избранных гостей.

Комната отделана была в чисто восточном вкусе: в ней стояли настоящие турецкие оттоманки, пол устлан коврами, и окна, выходящие на глухой двор, были составлены из разноцветных стекол. Вместо потолка высился

небольшой купол, откуда спускалась бронзовая лампа с матовыми колпаками.

— Э, да у вас славная комната! — сказал Яковлев, входя туда впереди Лубенецкого и быстро окидывая опытным взглядом стены и небольшой купол.

— Для дорогих гостей берегу, — ответил Лубенецкий.

— Стало быть, и я у вас дорогой гость?

— О, еще какой!

Яковлев улыбнулся и тронул Лубенецкого за плечо.

— Если вы говорите правду, пан, то, верьте мне, и я не останусь в долгу. Вы, может быть, найдете во мне не только приятного товарища, но даже друга.

Это было сказано Яковлевым так просто, так неподдельно звучал искренностью его голос, что Лубенецкий невольно подумал: «А что... может быть, и в самом деле он порядочный человек». Оглядевшись, порядочный человек тотчас же сел.

Лубенецкий позвал свою пани-добродзийку, как он называл пани Мацкевич, и приказал подать две чашки кофе и две трубки.

Через несколько минут кофе стоял уже на столе, а трубки набиты отличным турецким табаком, необходимой принадлежностью тогдашних кофеен и гербергов.

Тип кофеен и гербергов, какие существовали в то время, в первой четверти нынешнего столетия, совершенно исчез в Москве и начал заменяться подобием нынешних гостиниц, трактиров и портерных. В настоящее время о них совершенно забыли, как будто их и не существовало, но в описываемую эпоху ни одна улица в Москве не обходилась без кофейни и нескольких гербергов.

Только что пан Лубенецкий успел учтиво предложить Яковлеву чашку кофе и тот только что успел хлебнуть один глоток, как в комнате появилось совершенно новое лицо.

Появление лица озадачило Лубенецкого. Он обернулся и довольно грубо сказал:

— Вы не туда зашли, государь милостивый!

— Туда-с, туда-с, — было ему ответом. Лубенецкий вскинул глаза на Яковлева.

— Не к вам ли?

— Именно ко мне, — отвечал Яковлев,

слегка привстав. — Рекомендую: письмоводитель мой Тертый Захарыч Сироткин. Прошу любить и жаловать.

Грубый тон Лубенецкого сразу превратился в самый учтивый и приятный.

— Садитесь, прошу, — сказал он.

— Ничего-с, и постоим-с.

— Зачем же стоять, можно посидеть. Не хотите ли кофе?

— Кофейку можно-с, отчего же-с, дело хорошее-с...

— Садись, Тертый, — проговорил!.. Яковлев, — гость будешь. Пан Лубенецкий человек хороший и тебя не обидит, — прибавил он, несколько повышая тон. — Право, человек хороший.

— Как можно-с... обидеть!.. — улыбнулся Тертый Захарыч, — я их давно знаю-с... Федор Андреич и мухи не обидит... право слово... не только что кого-либо-с... Я их давно знаю-с...

Лубенецкий выразительно посмотрел на говорившего.

— Как, вы меня знаете?

— И очень даже хорошо-с.

— Ага! — неопределенно протянул Лубе-

нецкий и прибавил:- Впрочем, кто ж меня не знает в Москве...

— Конечно-с... верно-с... Но только мы немного получше других знаем-с...

«Экие мерзавцы!» — мысленно ругнулся Лубенецкий и учтиво проговорил:

— Садитесь же.

Третий Захарыч действительно был писмоводителем у знаменитого сыщика.

Это был выгнанный из службы чиновник, великий мастер крючкотворства, в некотором роде правая рука Яковлева во всех вопиющих против человечества проделках.

Трудно было найти что-нибудь гаже этой личности.

Безобразный с лица, горбатый, он был настоящим олицетворением зла и ехидства. Но Яковлев любил его, и никакое дело не начиналось им без этого горбуна.

Горбун знал свою силу, но держал себя перед Яковлевым безукоризненно скромно. Это еще более придавало ему вес и значение. В свою очередь, и Яковлев обращался с ним совсем не по-начальнически. Только иногда, при посторонних чиновниках, он позволял

себе приказывать ему. Наедине же он вел себя с ним как друг и приятель.

Лубенецкий, таким образом, очутился между двух огней. Ему предстояло выдержать напор двух особ, которые своими проделками приводили в ужас всю тогдашнюю Москву.

Содержатель кофейни чувствовал, что ему предстоит какая-то странная пытка, и не мог надивиться на мизерность и кажущуюся незначительность этих двух особ.

Яковлев и Сироткин действительно были особы замечательно мизерные в настоящем их виде, и, глядя на них со стороны, за них просто делалось грустно. Но стоило только этим двум особам развернуться, и из них выходили чудовищные гиганты.

Они очень скромно теперь прихлебывали кофеек, как будто ничего особенного им и не предстояло, так что Лубенецкий, взглядывая на них по временам из-за своей чашки, готов был допустить, что они далеко не опасные люди.

Яковлев попросил водки.

XII

Водка не замедлила появиться на столе.

Пани-добродзийка, Мацкевич, сама лично принесла большой графин и поставила перед Яковлевым.

Яковлев кивком головы поблагодарил ее и сейчас же взялся за рюмку.

В это время Третий Захарыч, нос которого от пьянства никогда не переставал быть багровым, устремил глаза на графин, а потом быстро перенес их на Яковлева.

Яковлев слегка кашлянул и поставил рюмку на прежнее место.

— А вы с нами, Федор Андреевич, не выпьете? — спросил он Лубенецкого.

— Отчего же, выпью, — ответил Лубенецкий, сообразив о подозрительности ищеек.

— В таком случае хватите-ка рюмочку. А потом уж и мы хватим с Третьим Захарычем.

— Хватите-ка-с, — осклабясь, проговорил Третий Захарыч.

Лубенецкий молча налил рюмку и выпил.

— Вот, теперь и нам можно, — произнес Яковлев, наливая две рюмки.

— Можно-с... теперь... и нам... — осклабился Третий Захарыч, и рюмка водки мгновенно юркнула в его широко разинутый рот.

Выпил и Яковлев. Но он выпил сдержанно, спокойно, как подобает чиновнику двенадцатого класса, т. е. сначала понюхал, потом пригубил, а потом уже выпил. После выпивки он поднял рюмку, посмотрел на свет, повертел ее и отчетливо поставил на стол.

— Еще по рюмочке... не угодно ли?.. — предлагал Лубенецкий.

— Можно... это не мешает!

Выпили еще по рюмке, потом еще, и через каких-нибудь минут двадцать графин был совершенно пуст. Лубенецкий предложил еще.

— Нет, теперь будет, — проговорил Яковлев и вдруг ни с того ни с сего обратился к Лубенецкому со следующим вопросом:

— Скажите, пожалуйста, Федор Андреевич, вы не знаете доктора, француза Метивье?

— Какого Метивье? — тоном незнания спросил Лубенецкий.

— А того самого, которого, как вас и меня, знает вся Москва, особенно же княжны да графини разные?..

Лубенецкий покачал головой.

— Нет, не знаю.

— Быть не может! Ведь это модный док-

тор... Брюнет еще такой... на лбу хохол... высок ростом, красив лицом... Как же вы не знаете?

— Не знаю.

— Странно.

— Ничего нет странного. Сами же вы говорите, что он модный доктор и что его особенно знают княжны да графини разные. А я в дома князей не вхож. Откуда же я буду знать их модных докторов.

— Гм! — промычал Яковлев и подумал: «хитер бестия».

Лубенецкий в самом деле не знал лично Метивье, хотя и слышал про него.

А Яковлев спрашивал у Лубенецкого про Метивье неспроста.

Метивье был одним из тайных агентов французского правительства и под видом доктора успел втереться в самые лучшие и высшие дома Москвы. Он особенно пришелся по вкусу молодым особам женского пола из аристократических семей. Они в нем души не чаяли, а некоторые были влюблены по уши. Этот французик был настолько ловок, что даже такой умный администратор, как граф

Растопчин, принимал его у себя в доме и долго не подозревал в нем тайного агента Наполеона.

Во всей Москве один неустрашимый Яковлев постиг его и успел даже коротко познакомиться с ним, не выдавая его, однако, до поры до времени в руки правительства.

Хитрому сыщику хотелось раскрыть целое общество агентов Наполеона, перепутать их, обойти, уличить, доказать их виновность во что бы то ни стало и как бы то ни было, а потом уже передать в руки правосудия, передать шумно, блестящим образом и получить достойное возмездие.

Вот почему Яковлев и обратился к Лубенецкому с вопросом о Метивье.

Яковлев хотя наверное и не знал, но ему казалось, что Лубенецкий тоже из числа агентов Наполеона, только более низшего сорта, чем Метивье.

Малейший намек Лубенецкого, что он знает Метивье, уверил бы Яковлева в справедливости его предположения. Не только в словах Лубенецкого, но даже во взорах его Яковлев ловил то, что ему было нужно.

Лубенецкий, однако, во время вопроса так держал себя безукоризненно и выглядел таким «всенезнайкой», что Яковлев прикусил язычок и вознамерился говорить более откровенным образом.

— Я ведь потому спросил о Метивье, — начал он, — что Метивье тайный агент Наполеона и что его надо опасаться.

С этими словами Яковлев вперил свой пронзительный и быстрый взгляд на Лубенецкого.

Лубенецкий сидел в это время, подперши правой рукой щеку, и тоже в упор глядел на Яковлева.

Хитрый сыщик своим маневром надеялся смутить Лубенецкого.

Яковлеву казалось, что если Лубенецкий действительно предполагаемый агент, то в этом случае непременно должен смутиться и тем выдать себя.

Лубенецкий, однако, не смутился.

Яковлев плохо знал этого пройдоху, полагая поймать его на такую довольно простую уловку. На этого зверька нужны были другие силки, более крепкие и более хитрые.

Тем не менее новость, сообщенная Яковлевым, удивила и даже как будто испугала Лубенецкого. Но это удивление и этот испуг, зародившись в душе его, там же и застыли, не выдав себя.

Лубенецкий по-прежнему был невозмутим и ровен.

XIII

Почему же Лубенецкого так удивила новость, сообщенная Яковлевым? А вот почему. Лубенецкий вовсе не воображал, что в Москве есть еще другие агенты, кроме него. Он считал себя единственным представителем французского правительства в первопрестольной столице и поступал, как агент, вполне самостоятельно.

А тут вдруг оказывается, что он не один и, кроме того, что еще прискорбнее, он, может быть, находится под надзором этого нового агента, Метивье, который контролирует его действия.

Контроль этот, если только он существовал, не мог же нравиться Лубенецкому.

Сверх этого, его еще огорчало и то, что он по настоящее время не знал, что за лицо Ме-

тивье и как так он, Лубенецкий, не получил по этому поводу никакой инструкции.

Быстро взвесив и сообразив все допускаемое, Лубенецкий решил: или Яковлев соврал о Метивье, или он, Лубенецкий, поставлен в самом деле в неловкое положение.

В первый раз в душе пройдохи еврея, «честно» преданного своему делу, шевельнулось недовольство теми, кому он служит.

«Черт их возьми совсем, — ругнулся он мысленно, — везде-то подлецы! Положительно никому, верить и служить нельзя: везде норовят делать из тебя пешку или — еще хуже — глупое орудие своих целей. Ну, да ладно, — бродило в голове его, — если на то пошло, я и сам не дам промаху и пошлю к черту не только Метивье, но и самого Бертье, который, вероятно, как заведующий агентами, послал этого французика в Москву. Во всяком случае, я должен разузнать кое-что и поступать сообразно с обстоятельствами».

Пока в голове пана Лубенецкого пробегали такие мысли и соображения, Яковлев и Тертый Захарыч решились еще очистить графинчик, предложенный ранее.

Молча, с какой-то сердечностью, Яковлев пил рюмку за рюмкой. Так же сосредоточенно вторил ему и Третий Захарыч. Только по временам оба они враз вдруг вскидывали глаза на Лубенецкого с видимой целью уловить «что-то».

Но это «что-то» не давалось им.

Лубенецкий был тверд, как скала, и сидел, не переменив позы. Казалось, что он готов был просидеть таким образом сколько угодно.

И в самом деле, Лубенецкий приготовился сидеть и ждать, что скажут ему ищейки, хоть двое суток.

Яковлев не ожидал такого простого, но ловкого маневра со стороны Лубенецкого.

Входя в кофейню, сыщик вполне был убежден, что живо заинтересует чем-нибудь Лубенецкого, разговорится с ним, заспорит и таким образом уловит «кое-что», на чем можно будет основать задуманное предприятие.

Вышло совершенно противное.

Яковлев как бы сам попал впросак.

Привыкший к удачам, опытный сыщик начинал даже сердиться.

«Вот мерзавец, — думал он, допивая последнюю рюмку, — и в ус не дует. Сидит себе, как сыч какой-нибудь, жид проклятый, и даже рта не разинет, чтобы предложить рюмку водки».

Вместе с этой руганью, относившейся к проклятому жида, мысль подсказывала Яковлеву кое-что и в пользу жида.

«А он не дурак, — говорил он, — право, не дурак. Посмотри, какой молодец. Вот бы ты постарался залучить такого человека в свою компанию, много бы он принес тебе пользы. А что ж, и постараюсь! — вдруг решил Яковлев. — В самом деле, он преотменная личность. Я с ним могу далеко пойти. Что же касается того, чтобы уличить его в каком-нибудь преступлении, то это бабушка еще на дворе ворожила. Да хотя бы за ним что-либо и водилось, то этакого гуся не так-то легко уличить. Только даром время потратишь. Лучше сойду с ним по-приятельски. Авось дело-то и лучше будет».

Решив таким образом, Яковлев захотел переговорить с Лубенецким наедине.

— Третий Захарыч, — обратился он к свое-

му письмоводителю, который после пятнадцати рюмок пеннику начинал уже клевать носом, — поди-ка ты домой, я вижу, ты спать хочешь...

— Нет-с, я ничего-с, — приободрился Третий Захарыч.

— Ладно. Ступай, я тебе говорю.

Третий Захарыч торопливо встал и остановился, глядя подобострастно на Яковлева.

— Нет, ничего, Третий Захарыч, — промолвил Яковлев, не глядя на него. — Иди и спи. Вечером увидимся.

— Прощайте-с, — пробормотал Третий Захарыч и, сильно пошатываясь, вышел из комнаты.

— Я ведь нарочно, — начал Яковлев, — вы проводил своего письмоводителя отсюда.

— Ваше дело, — проговорил холодно Лубенецкий.

— Конечно, мое. Но отчасти и ваше.

— Едва ли.

— Что вы вдруг так насупились, пан? Когда мы входили в кофейню, вы, кажется, были веселее.

— Я шел с вами, — начал хитрить Лубенец-

кий.

— Ну, так что ж? — подхватил Яковлев.

— А то, — проговорил Лубенецкий, притворив дверь, в которую ушел Третий Захарыч, — что я вовсе не ожидал встретить с вами какого-то урода. На что он здесь? Зачем?

«Поддается», — подумал Яковлев и проговорил:

— Это было маленькое недоразумение, на которое, прошу, не обращайтесь внимания.

«Он что-то затевает, — мелькнуло в голове Лубенецкого, — ну, да это все равно... для меня же лучше... Во всяком случае, мне надо с ним сойтись, чтобы узнать кое-что о Метивье и, если можно, чем-нибудь доконать этого французика».

Яковлев вовсе и не воображал, что он так сильно заинтересовал Лубенецкого французиком. Если бы он знал это, то, наверное, основал бы на нем целый план своих действий и, может быть, пришел к своей цели смело и с достоинством. Теперь же Яковлев был поставлен в необходимость ухватиться за Метивье, как за одно из средств, которое могло сблизить его с Лубенецким. Сам того не подозре-

вая, Яковлев и ухватился именно за то, что одно только и в состоянии было сблизить его с непомерно увертливым паном.

Увертливый пан был задет именем Метивье, как агента, за живое и стал ему с этого времени поперек горла. В Лубенецком заговорило дремавшее доселе самолюбие, как человека и как деятеля. «Как, — бродило в голове его, — меня отодвинули, меня забыли! Предпочли передо мной какого-то французика с хохлом! О, черт возьми! — восклицал он мысленно, — кто-нибудь один: или я, или он. Ничего общего между нами быть не может. Два зверя в одной берлоге не уживаются».

И действительно, Лубенецкий и Метивье были два зверя, одинаково хищных, одинаково сильных, действовавших во имя одного принципа, но стоявших на разных ступенях общественного положения. Метивье был агент-аристократ. Лубенецкий — плебей.

В своих сферах они были велики и приносили немалую пользу тем, кому нужна была их услуга. А услуга их нужна была для Бертье, Бертье, который для Наполеона был все — и начальник штаба, и камердинер, и чуть ли

даже не повар. Словом, Бертье был для Наполеона тем, чем был для Ришелье монах Иосиф.

Об именах Метивье и Лубенецкого знал даже сам Наполеон. Он и не мог не знать их, если их знал Бертье.

А Бертье знал их обоих очень хорошо. Он знал, что если послать их в Москву вместе, чтобы они действовали общими силами, то из этого не выйдет ничего: они непременно перессорятся, и дело останется ни при чем. Бертье поступил в этом отношении благоразумнее. Он, посылая каждого из них отдельно, делал вид, что уполномочивает на агентуру одного только посылаемого. Таким образом, Лубенецкий и Метивье, отправляясь в Москву, каждый со своими инструкциями, были убеждены в самостоятельности и единоличности своих действий и поэтому действительно работали смело и неутомимо, чего, собственно, и добивался Бертье.

Но вот, как видите, нежданно-негаданно, в лице сыщика Яковлева дорогу Лубенецкого перебежала черная кошка. Лубенецкий узнал, что деятельность его далеко не самостоятель-

на и что он в Москве, может быть, один из последних агентов.

В сердце его закипела невольная злоба против Метивье, и он с нетерпением ожидал рокового для себя разъяснения.

Подвыпивший Яковлев давно уже искал в уме своем нити для сближения, посредством ловкого оборота, с Лубенецким и, на скорую руку не находя его, снова обратился к Метивье.

— Послушайте, Федор Андреевич, — заговорил Яковлев, — ведь я вам без шуток говорю: этот Метивье, хохлатый французик, агент Наполеона.

— Так мне-то что ж! — отделялся Лубенецкий.

— Как что?

— Да так что!

— Ну, в таком случае вы, Федор Андреевич, не коммерческий человек.

— Не знаю, при чем тут коммерция.

— А при том, при чем следует.

— Сомневаюсь.

— Потому и сомневаетесь, что вы не русский человек. Русские люди так не говорят.

Русский человек всегда норовит на грош пятаков купить.

Лубенецкий молчал.

— Так вот-с, — продолжал Яковлев, — дело-то такого рода. Хотя мусью Метивье и славный французик, а «пососать» бы его не мешало.

— Как так — «пососать»?

— А очень просто!

— Например?

— Да «потеребить» бы его насчет деньжонок.

— А! — протянул, точно зевая, Лубенецкий и подумал: «Да этот Яковлев, как я вяжу, сам напрашивается быть мне полезным относительно Метивье. Если он не хитрит, то, наверное, сердит за что-нибудь на француза и хочет его обобрать».

— А? Как вы думаете? — добивался Яковлев, как будто речь шла о таком деле, которое Лубенецкому, как его другу и приятелю, давно уже было известно.

— Что ж, потеревите, если это вам нравится, — ответил Лубенецкий, слегка пожимая плечами. — Я тут при чем же?

— А при том же: я один не справлюсь.

— Вы... не справитесь?

— Да, батенька, не справлюсь. А отчего?

Стар стал. Бодрости нет. Дел много, а денег — ни шиша. Только и живу приношениями добрых людей. Гол как сокол.

Яковлев при этом сделал такую жалкую и такую убогую мину, что Лубенецкий невольно поверил его бедности.

А сыщик далеко не был беден. Напротив, он даже мог назваться капиталистом, несмотря на то, что по большому размеру сыскных операций он был в необходимости употреблять в дело значительные суммы денег.

Не было в Москве такого заведения, которое бы в известное время не несло Яковлеву своей дани. Особенно в этом отношении составляли его доходную статью «веселые дома», для содержательниц которых он был грозой, а в случае нужды и самой благонадежной защитой. Кроме этого, он брал дань и с посетителей «веселых домов», особенно же с богатых купеческих сынков, которые кутили там тайно от своих родителей или супруг. Эти «добровольные приношения», как называл их

Яковлев, давали ему ежемесячно весьма и весьма-таки кругленькую цифру рублей. Сверх этих доходных статей была у Яковлева и еще одна доходная статья, которую он называл «затычкой». «Затычка» заключалась в следующей проделке. Вынудив, например, у какого-нибудь вора чистосердечное признание и потом производя следствие, Яковлев имел невинное обыкновение обращаться с подсудимым очень фамильярно и давать ему сам или своего горбуна-письмоводителя Тертия Захарыча косвенные советы, вследствие которых вор показывал, что он продал какую-нибудь краденую вещь называемому им человеку, всегда довольно зажиточному, но не имеющему большого значения в обществе и хороших связей. У мнимого укрывателя краденых вещей Яковлев производил внезапный домовый обыск, по большей части ночью, и хотя краденной вещи не находил, но, несмотря на это, брал его под стражу. Дело понятное, что тот откупался и выходил из-под ареста. Вообще знаменитый московский сыщик в добывании денег, как и в розысках, не пренебрегал средствами и драл, что называ-

ется, с живого и с мертвого.

— Так вот-с, батенька, дела-то наши какковы! — жаловался Яковлев. — Поневоле душой покривишь. Да и то сказать: перед кем? — переменил он тон. — Ну, будь человек порядочный, порядочный гражданин, член общества, а то ведь так — мазура какая-то, французишка поджарый! Ну, скажите, отчего его не обобратить, подлеца, как липку какую-нибудь? Ведь надо обобратить, как думаете?

С этими словами Яковлев плутовато посмотрел на Лубенецкого.

Лубенецкий давно уже радовался тому, что сама судьба наводит на него Метивье. Ему давно хотелось сказать Яковлеву: «Грабь его, подлеца, сколько твоей душе угодно, я помогу», но он опасался, что нет ли со стороны Яковлева какой-нибудь ловушки, и поэтому держал свой язык на привязи.

Видя, что пан Лубенецкий все еще корчил из себя невинного агнца, Яковлев просто сказал:

— Ты хитри не хитри, ясновельможный пан, а то, что я тебе говорю, ты намотай на ус, тем более что я тут что-нибудь найду, а ты

что-нибудь обрящешь. Метивье богат и имеет обширные связи. Источник его наживы неистощим. Пусть же он будет нашим источником. Скажу тебе откровенно, пан, сладить с ним я один не в силах. Мне нужен был хороший сотоварищ. Я искал его и нашел. Сотоварищ этот — ты. Надеюсь, что ты не погнушаешься знакомством со мной. Мы, во всяком случае, стоим друг друга. Ты теперь поймешь, почему я тебя и остановил сегодня... Ну, что ты на это скажешь, пан Лубенецкий?

— Скажу одно: согласен, — ответил Лубенецкий, — потому что я должен согласиться...

— Ну, как бы там ни было, а мне только и надобно... Но... еще несколько слов, ясновельможный.

— Говорите.

— Союз наш должен быть в секрете.

— От вас зависит.

— Сети свои мы будем раскидывать не на одного Метивье, а вообще на всех щук, какие нам будут попадаться на пути. Мы только начнем с Метивье, как с более подходящей нам в это время личности.

— Далее.

— Далее, — прищурил плутовато глаза Яковлев, — панна Грудзинская пусть не забывает нас.

— Как, вы ее знаете? — удивился Лубенецкий.

— Даже имел счастье видеть вчера, — улыбнулся сыщик. — Я вчера исправлял должность смотрителя Тверских ворот и собственноручно вписал паспорта двух панн в книгу.

Лубенецкий пожал плечами.

— Что? Удивляетесь? — подмигнул Яковлев. — Впрочем, удивляться нечему. Так случилось...

— Что же далее?

— А далее...

Яковлев помолчал.

— Да что далее! — потрянул он головой. — Далее — видно будет... А теперь, в знак нашей новой дружбы, поцелуемтесь и разопьем графинчик «ерофеичу»... У тебя есть «ерофеич»?

— О, как не быть!

— И прекрасно! Твою руку, товарищ!

Лубенецкий протянул руку.

— Но, чур, пан, не хитрить!

— А вы?

— Ни-ни! — потряс головой Яковлев.

— В таком случае и я — ни-ни!

— Верю! — воскликнул Яковлев. — Между честными людьми не должно быть подлостей.

Оба почему-то улыбнулись, потом встали, поцеловались трижды и опять сели.

Через несколько минут новые приятели дружески попивали «ерофеич»...

XIV

Вскоре «ерофеич» так раззадорил Яковлева, что он вступил с Лубенецким в самый дружеский и откровенный разговор. Приказным шуточкам его конца не было.

В свою очередь, подвыпив, и Лубенецкий сделался более стоворчивым. Он настолько развеселился, что даже начал рассказывать о своих любовных похождениях в Париже и Варшаве.

Слушая его, Яковлев почмокивал губами и восклицал:

— Ах, черт побирай, неужели?

— Честный человек! — уверял Лубенецкий.

— Вот распроканалья-то! — облизывался Яковлев. — Вот бы мне такую паненочку!.. Просто, кажется бы, в линейку для нее растянулся.

— Будто?

— Ей-Богу!..

— Гм...

Лубенецкий на минуту задумался.

— Я ведь, брат, откровенно говоря, — болтал Яковлев, — на этот счет — у какой дока!.. Право слово!.. Я, брат, люблю хорошеньких... вот как люблю — отдай да мало!..

— Что ж, за этим дело не станет.

— Как так?

— Да очень просто.

— Однако?

— Ты видел другую-то?

— Какую другую?

— Что с Грудзинской приехала?

— Не рассмотрел, признаюсь.

— Очень жаль.

— Что так?

— Славная девочка.

— А?

— Право!

— Что ж она?

— Да что!.. Уехала, брат...

Яковлев сдвинул брови.

— Быть не может! Я об этом не знаю!

— А разве ты обо всем знаешь? — спросил с некоторой иронией Лубенецкий.

— Обо всем, — отрезал Яковлев, которому почему-то не понравился тон Лубенецкого.

— Вот как! — прикусил губу Лубенецкий.

— Да вот как! — протянул Яковлев. — Я вот даже знаю, что у тебя за пазухой... У тебя за пазухой — пистолет!

— Пистолет?

— Да.

Лубенецкий принужденно рассмеялся и, помолчав, проговорил:

— Совершенно справедливо. Но что ж из этого?

— Ничего. Только, как видишь, я отчасти пророк.

— Да, да, пророк, вижу, — смеялся Лубенецкий. — Но ведь и я тоже пророк.

— Ты?

— Я.

— Ого!

— Я вот, например, также знаю...

— Что также?

— Что у тебя тоже пистолет... но только — в левом кармане.

Яковлев вытаращил глаза на Лубенецкого и вдруг захохотал.

Захохотал и Лубенецкий.

— А ведь, однако, мы с тобой того!.. — смеялся, как сумасшедший, Яковлев...

— Да, мы с тобой того... — отвечал, также смеясь, Лубенецкий.

— Знаешь что, Федор Андреевич, — успокоился немного погодя Яковлев, — меня очень и очень даже радует то, что я в тебе нашел. С каждой минутой я убеждаюсь, что я с тобой далеко пойду. Как там хочешь, верь ты мне или не верь, но с этой минуты тебе опасаться меня нечего. Со своей стороны, я тоже опасаться тебя не буду. Мы, как я вижу, всегда будем настороже и в то же время беспечны, как дети. Это будет нам лучшим ручательством друг за друга. Так ли я говорю, почтеннейший Федор Андреич?

— О, совершенно так! — воскликнул искренним тоном Лубенецкий.

— В таком случае пройдемтесь еще по «ерошке». Благодаря ему мы, кажется, поняли друг друга.

— О, еще как поняли!

— Ну, а насчет полочки, — прищурился Яковлев, — ты уж меня, Федор Андреевич, пожалуйста, не оставь. Ублаготвори.

— Будь покоен, — ответил лаконически Лубенецкий, — ублаготворю. На днях же, как-нибудь увидишь ее. Я познакомлю тебя с ней.

— Друг! — воскликнул Яковлев и, встав, облобызал Лубенецкого.

После этого они снова принялись за «ерофеича», благодаря которому, по словам Яковлева, они поняли друг друга.

За «ерофеичем» новые друзья просидели вплоть до вечера...

Вечером, когда в кофейне Лубенецкого зажглись огни, Яковлев был совершенно пьян.

Тупо и бессмысленно посматривая на сидевшего против него довольно подвыпившего, но еще бодрого Лубенецкого, сыщик только и твердил:

— Славный ты малый, Федюша, хотя и преотменная каналья!.. Люблю тебя, верь

мне!.. Мы с тобой далеко пойдём!.. Впрочем, и «ерошка» у тебя хорош!.. у как хорош!..

Действительно, «ерошка» был хорош у Лубенецкого, ибо этот «ерошка» вскоре совсем одолел Яковлева, невзирая на то, что сыщик нередко выпивал по два и даже по три полуштофа пеннику в один присест и оставался, что называется, «ни в одном глазу».

Сыщик, наконец, заснул, облокотившись обеими руками на стол, за которым он сидел, и даже начал довольно громко всхрапывать.

Лубенецкий сидел некоторое время, делая вид, что он совершенно ничего не замечает. Потом, когда всхрапывания Яковлева превратились в целый поток завываний, Лубенецкий встал, сильно пошатываясь, и любезно тронул Яковлева за плечо.

— Послушайте, — говорил он несвязно, — послушайте, Гавриил Яковлевич, вы бы лучше шли, душа моя, и легли на оттоманку; на оттоманке лучше. Право, на оттоманке лучше — мягкая, длинная... Послушайте...

Яковлев, однако, ничего не слушал и спал, что называется, как убитый, вздрагивая по временам всем своим телом.

Лубенецкий постоял некоторое время над ним, с особенным вниманием при матовом свете лампы вглядываясь в край его красного, бугреватого лица, который выглядывал из-под руки, и, проговорив тихо: «Спит, пусть его спит», осторожно вышел в соседнюю комнату.

Яковлев спросонья промычал что-то, быстро почесал у себя затылок и снова заснул.

Через минуту вместе с пани Мацкевич Лубенецкий снова вошел в комнату.

— Пани Мацкевич, — обратился он к ней, говоря наподобие сильно подвыпивших, — пусть этот господин, — заметь, это мой лучший друг, — спит здесь. Пожалуйста, не тревожьте его и постарайтесь, чтобы в кофейне, когда он будет спать, было все тихо и спокойно. А в комнату, Боже сохрани, никого...

— Добже, пан, — ответила пани Мацкевич совершенно безучастно.

— Ну, то-то же, — сказал Лубенецкий внушительно и вышел.

Тихо притворив за собой дверь, вышла за ним и панна Мацкевич.

Яковлев остался один.

Некоторое время он продолжал всхрапывать, как тяжело спящий, потом храп его делался все тише и тише и, наконец, совсем прекратился.

Сыщик, не поднимая головы, открыл глаза, которые при матовом свете лампы казались какими-то оловянными, хорошо вычищенными выпуклостями, и начал воровски смотреть то в одну, то в другую сторону.

В комнате было тихо и таинственно. Лампа кидала на все какой-то странный, сказочный полусвет. Купол был темен.

Яковлев встал и, оглядываясь, прошелся по комнате. Потом он подошел к двери и несколько мгновений постоял у нее. За дверью было тихо. Казалось, в кофейне не только никого не было, но даже все вымерло.

— Гм, хитер, жид проклятый! — буркнул Яковлев себе под нос и уставил глаза в купол. Темный купол казался таинственным зевом. Несколько мгновений Яковлев не отрывал глаз от купола. Глаза его в это время то быстро расширялись, то быстро суживались. После этого он начал ходить у стен. Стены были обиты тонким ковром. Яковлев слегка посту-

кивал в стены и прислушивался. Видно, стены не дали ему желаемого ответа, потому что он, походив, сел и проговорил недовольным тоном:

— Все шито и крыто. Наружных улик — ни на грош. Ах, жидовская образина! Право, не ожидал, что он настолько умен и ловок. Утром нынче, при встрече, он показался мне куда глупее, особенно тогда, когда он, струсив, хотел ухватить меня за горло. И ведь еще какая бестия! Тоже пьяным прикинулся... и как, поди, ловко... точно и в самом деле пьяный... Экой, черт мазаный, право!.. Досадно даже... Впрочем, время еще не ушло, — обнадеживал себя сыщик, — я еще с ним потягуюсь... Да и дурак я, право... с налету все захотел устроить... очень нужно... Как будто для меня мало еще времени впереди... А хитрый малый, нечего сказать! — покачивал он головой. — Люблю таких, право, люблю... Малый хоть куда, отменный малый... с таким и потягаться — не замараешь себя... Честь и слава тебе, свиное ухо! А все-таки я тебе, милейший мой, какую-нибудь «кулаверию» да подведу, уж вот как подведу — пальчики оближешь...

А теперь покуда я буду с тобой отменным другом и товарищем... Однако где же он теперь? Уж наверное не в кофейне... О, это мы сейчас узнаем!..

Сыщик почти отрезвился, но как бы еще отуманенный он неровными шагами, путаясь, направился к двери.

Дверь не была заперта. Он толкнул ее плечом, и она быстро распахнулась. За дверью находился маленький, темный коридорчик, из которого другая дверь вела к буфету.

Когда сыщик появился у буфета, то никто бы не усомнился в том, что он пьян совершенно: глаза его бессмысленно блуждали по сторонам, голова качалась, корпус гнулся и ноги еле-еле держали его. Казалось, малейший толчок мог повалить его на пол.

Всякого рода переодевания и изменения своей личности Яковлев, можно сказать без преувеличения, доводил до артистического совершенства. Нередко случалось, что даже подчиненные ему «ищейки», в свою очередь, народ выдавший виды, не узнавали его, когда он бывал переодетым. В таком виде Яковлев особенно любил посещать, в ночное, разуме-

ется, время, убежища отвратительной нищеты и приюты «разгула и кручины», где так часто зарождаются столичные преступления и где, в большинстве случаев, скрываются преступники от преследований. Многие его открытия — огромного количества украденных и ограбленных денег, воров, разбойников и важных политических преступников — обязаны именно его артистическим переодеваниям.

Взглянув на пьяного Яковлева, пани Мацкевич, торчавшая за буфетом, не удержалась, чтобы не вскрикнуть:

— Ах, який пан не пенкный!

Яковлев, замотал головой.

— Где Федя?.. Скажи мне... — клевал он носом над буфетом, — и больше ничего!..

— Федор Андреич? — переспросила пани, делая сильные ударения на «дор» и «ич».

— Да, да, он, — мотал головой Яковлев. — Я люблю его... он славный малый... Федя, милый друг, где ты? — начал он вдруг нараспев.

— Тише, тише, ради Бога, тише! — начала уговаривать его пани Мацкевич. — Вот «цедулка», которую он оставил для пана.

Мацкевич быстро подала Яковлеву клочок бумажки, которую он взял, сунул небрежно в карман и, проговорив: «А, хорошо!», нахлобучил на голову картуз и направился к выходу.

Пани Мацкевич пошла его провожать, довольная тем, что избавляется от такого непрошеного гостя.

Непрошенный гость вскоре очутился на улице, прошел небольшое пространство, все еще пошатываясь, потом вдруг остановился, огляделся и свистнул каким-то особенным образом, приложив два пальца ко рту.

На свист перед ним явился Третий Захарович Сироткин.

XV

Из своей кофейки Лубенецкий прямо отправился на Арбат, к Грудзинской.

Молоденькая панна уже успела обдумать свое новое положение. Она решилась веселиться в Москве во что бы то ни стало, махнув на все остальное рукой, особенно же на то, зачем она, собственно, приехала.

Она начала с того, что в тот же день собралась с Прушинской в театр, который находился недалеко от ее дома, а именно на Арбат-

ской площади.

Это был аристократический и лучший театр в Москве.

В описываемое время он особенно пользовался славой и вся аристократическая столица была от него в восторге.

Как раз в ту пору, именно в конце августа 1811 года, в Москве образовалась французская труппа под управлением француженки Бюсей и начала давать в Арбатском театре свои представления. Представления были тем занимательнее, что в них участвовали две тогдашние европейские знаменитости — драматическая актриса Жорж и танцовщик Дюпора, которых, дорожа дружбой Александра Павловича после Тильзитского мира, на время Наполеон уступил Москве и Петербургу. В том же месяце приехала в Москву и русская знаменитость Семенова. Эти две знаменитости, Жорж и Семенова, играли попеременно. Семенова являлась на сцене в русских спектаклях по четвергам, а Жорж во французских по субботам. Оба дня театр сверхудонизу был наполнен зрителями. Запрос на билеты доходил до того, что для получения их многие

приходили в театр с вечера и всю ночь толпились у кассы. Обе актрисы являлись в трагедиях Расина и Вольтера. Любители и знатоки драматического искусства приходили от игры их в самое восторженное бешенство. Мало того, все высшее общество Москвы разделилось на две партии: жоржистов и семенистов. Представителем первой был доктор-француз Метивье с толпой аристократок «самой чистой воды», второй — граф Растопчин, который в свое время явится одним из героев настоящего повествования.

Когда Лубенецкий, несколько встревоженный, вошел в комнату Грудзинской, она была совершенно уже одета в свой национальный, подзадоривающий чувство костюм. Она вертелась по комнате, пробуя стуком по полу свои шитые серебром с подковками туфельки. Вертушка сразу заметила вошедшего Лубенецкого, но сделала вид, что не замечает его, и продолжала пощелкивать каблучками. Лубенецкий стоял и молча смотрел на ее ноги, которые по желанию обладательницы выделяли самые капризные и самые милые движения. Вдруг девушка, как бы невзначай,

обернулась и лицом к лицу встретила с Лубенецким.

— Ах, пан, вы! — воскликнула она тоном удивления и, слегка изогнув шею, протянула ему руку.

Лубенецкий молча поцеловал руку.

— Что вы, пан, такой хмурый? — спросила как бы с участием девушка и моментально отскочила, вскрикнув:

— Водка, пан!

— Совершенно верно, — ответил серьезно Лубенецкий. — Я немножко выпил... правда... так надо было... Но скажите, пожалуйста, куда это вы собрались, панна?

— Куда? — лукаво спросила девушка.

— Да.

— А зачем пану знать?

— Мне даже необходимо знать.

Панна нахмурилась.

— А если я не хочу сказать?

— Ваша воля, — в свою очередь, нахмурился Лубенецкий и сел.

— Моя? — как бы заигрывая, начала девушка.

— Ваша.

— Коли моя, то знайте же, пан, что я хочу отправиться в театр.

— Только-то?

— А то что же?

— Ну, это еще очень немного.

— А вы бы хотели большего? — лукавила панна. — Да?

— Для меня все равно, — серьезничал Лубенецкий, которому очень понравились последние слова панны, дышавшие какой-то приятной девической искренностью.

— Все равно? — протянула Грудзинская, устремляя пытливый взгляд на Лубенецкого. — Как это все равно?

— Нет, я не то совсем хотел сказать, — ответил Лубенецкий тихим и размерным голосом.

— А то что же! — с наивным достоинством проговорила девушка.

— Да, правда, я совсем не то хотел сказать, — продолжал Лубенецкий, не глядя на девушку. — У меня была совершенно другая мысль... Но все-таки вы сегодня в театр не поедете...

— Как так не поеду? — вспыхнула панна.

— Так, не поедете.

Панна вспылила еще более.

— Вздор!

— Нет, не вздор.

— Поеду, слышите ли, поеду! — вдруг затопала она ножкой.

— Впрочем, как хотите... Но это я говорю потому, что вы можете сегодня увидеть спектакль далеко интереснее того, какой будет в театре.

— Вы сегодня, пан, говорите какие-то странности, — надулась панна. — Я не понимаю вас. Не случилось ли чего? — спросила она уже с участием.

— Нет, ничего особенного. Все по-старому.

— Так что же вы такой хмурый?

— О, Боже! Причина самая простая: на горизонте московского неба появилась комета.

— Комета?

— Да, именно, комета.

— Что же она вас так смущает?

— По очень простой причине.

— Ну?

— Комета эта, если только она долго продержится, может много, очень даже много по-

вредить нам с вами, панна, — проговорил угрюмо Лубенецкий. — Заметьте, очень даже много, панна.

Панна, из этих слов поняв нечто, вдруг сделалась серьезной и высоко подняла голову.

— Как так? И что такое? Я не понимаю, пан Владислав! — заговорила она, вглядываясь в Лубенецкого, который, говоря, вовсе не смотрел на нее. — Объясните мне.

— Все просто, — отвечал по-прежнему угрюмо Лубенецкий, — но тем не менее весьма нехорошо.

Грудзинская встрепенулась. В тоне Лубенецкого было столько искреннего, затаенного негодования на кого-то, что девушка вдруг почувствовала, что и она должна разделить это негодование, так как все близкое Лубенецкому близко и ей.

— Что? Что такое, пан? — допытывалась она, уже подойдя к Лубенецкому.

«А, — пробежало в голове пана, — струсила! Я так и знал, что струсит. Это мне на руку. По крайней мере, будет помогать мне так, как только может. А то она, как вижу, начала дурчиться со мной. Мне это совсем не нравится».

ся, хотя она при этом и выказывает много женственной грациозности».

Желая еще более смутить девушку, Лубенецкий проговорил:

— Что? Что? Вот что. Ежели мы только хотя немного оплошаем, нам несдобровать в Москве.

— Неужели? — воскликнула озадаченная девушка.

— Да, да, несдобровать, — подтвердил в раздумье Лубенецкий.

Панна вытаращила на Лубенецкого глаза. Она не на шутку перетрусилась. Она очень хорошо знала Лубенецкого и, зная его, знала также, что он на ветер слов не кидает. Уж если сказал, что они в опасности, то уж действительно есть какая-нибудь опасность, которую во что бы то ни стало надо предупредить. Для Лубенецкого же, собственно говоря, не было никакой опасности. Ни Яковлев, ни Метивье вовсе не пугали его. Он надеялся на свои силы и действительно как бы даже помимо своей воли вывертывался всегда даже из самых затруднительных положений. А от Яковлева и Метивье ему даже и особенной

опасности не предстояло. Яковлеву невозможно было уличить его в чем-нибудь, а Метивье только одно и мог сделать, что донести французскому министру полиции Савари о каком-либо нерадении к делу Лубенецкого. Но Лубенецкий был так далеко от исполнителя тайных поручений Наполеона и так набил свои карманы франками и русскими рублями, что для него этот донос вовсе не составил бы ничего угрожающего. Уж ежели бы на то пошло, то он даже просто-напросто мог кинуть свою роль агента и остаться жить в Москве навсегда, плюнув на всяких Савари и Метивье. Одно только самолюбие и заставило Лубенецкого обратить на все это внимание. Надо заметить, что Лубенецкий был отменно самолюбив и превосходство других просто приводило его в негодование.

Испуг же Грудзинской был весьма понятен. С прекращением дел Лубенецким прекратились бы и ее ресурсы на жизнь. А для нее это было бы невыносимо. Она уже успела привыкнуть блистать и пользоваться благами и относительным независимым положением, которое достигается только материаль-

ным благосостоянием. Другого чего-нибудь в виду у панны не имелось. Кроме того, она настолько привыкла к Лубенецкому, что разлука с ним показалась бы ей неприятной. Хорошенькая панна, несмотря на свою бойкость, развязность и ловкость, была еще настолько неопытна, что не знала себе цены и не умела разгадать Лубенецкого в отношении к себе. Она все еще думала, что служит для Лубенецкого поддержкой в его деле, и поэтому он благоволит к ней. Между тем Лубенецкий давно уже смотрел на хорошенькую девушку совершенно с иной точки зрения, хотя и держал себя в отношении к ней достойно и прилично. Девушка и не подозревала, что, собственно, труд ее по агентуре для Лубенецкого не составлял ничего особенного и что если бы он окупался ей при других обстоятельствах, то окупался бы весьма скудно.

Некоторое время Лубенецкий и Грудзинская сидели молча. Он наслаждался действием своих слов, она в глубине души своей решалась действовать с Лубенецким серьезнее и не относиться так легкомысленно к делу, как она думала было относиться. Лубенецкий

подметил это и решил получить от девушки категорический ответ, ибо ему и в самом деле нужна была помощница в предполагаемой борьбе с Яковлевым и Метивье, которого он, не зная, ненавидел уже всей своей душой.

— Ну-с, панна, что на это скажете? — спросил он, переменяя угрюмый тон на несколько иронический.

— Я скажу одно пану, — ответила серьезно девушка, — если какая-то комета действительно для нас опасна, то пан может располагать мной как ему угодно.

— Да? — улыбнулся весело Лубенецкий.

— Да, пан, — ответила Грудзинская, несколько потупя голову.

— О, если так, — проговорил Лубенецкий, вставая и подходя к ней, — то нам с вами опасаться нечего.

— А велика опасность? — поглядела на него панна.

— Не особенно, но... как бы это вам сказать — жертв особенных вовсе не потребуются. Потребуется только маленькая энергия, терпение и, главное, небрезгливость.

— Да? — прищурилась девушка, — толь-

ко-то?

— Будьте уверены, не более, — проговорил Лубенецкий, целуя ее руку.

В это время в соседней комнате слышались шаги. Лубенецкий встал.

— Эмилия, ты? — спросила Грудзинская.

— Я, панна, — проговорила, входя, Эмилия.

— Что ты?

— Там пришел господин.

Грудзинская вопросительно подняла глаза на Лубенецкого.

— Это мой хороший знакомый.

— А! — протянула панна.

— Что же, прикажете позвать? — спросила Эмилия.

— Нет, я сам пойду встретить его, — проговорил Лубенецкий и вышел, кинув на Грудзинскую особенно выразительный взгляд.

Эмилия вышла вслед за ним. А панна Грудзинская вдруг быстро встала, оправилась и самым предательским образом развалилась на небольшом диванчике, причем одна ножка ее с особенной прелестью выглядывала из-под богато шитого платья.

Когда Яковлев и Лубенецкий вошли в ком-

нату Грудзинской, она даже не тронулась с места, чтобы встретить их; Казалось, она тихо дремала. Войдя, Яковлев развязно поклонился по направлению к диванчику, на котором полулежала Грудзинская, и проговорил:

— Квартирка эта, кажется, мне несколько знакома.

Лубенецкий, успевший уже с утра освоиться со всезнанием Яковлева, нисколько не удивился этому.

— Очень может быть, — ответил он совершенно спокойно. — Вы так хорошо знаете Москву, что меня это нисколько не удивляет.

— Право, знаю, право, знаю, — говорил между тем, оглядываясь, Яковлев. — Вот тут, мне кажется, есть комната, обитая голубоватой материей. Мебель светлая. Два окна на двор. А вот сюда, направо, кажется, комната в четыре окна, которые выходят в переулок. Там, в углу, шкаф красного дерева с плтайными ящичками. Мебель там пунцовая. Такая же материя и на стенах с серебристыми искорками...

— Нет, нет, вы немножко ошиблись, — перебил его Лубенецкий, искривляя губы в до-

садливую улыбку, — вы немножко ошиблись, Гавриил Яковлевич. Теперь там мебель вовсе не пунцовая, а лиловая. Такая же и материя на стенах. Шкафа нет. На месте шкафа стоит постель Грудзинской, которую я вам и представляю, мой добрый друг:.

С этими словами Лубенецкий подошел к дивану и взял осторожно Грудзинскую за руку. Грудзинская сперва открыла глаза, которые, казалось, были закрыты, потом слегка зевнула, а потом, вся еще не приподнимаясь, чуть-чуть слышно проговорила:

— Ах, это вы... вы...

Она вдруг замялась и не знала, как перед новым знакомым назвать Лубенецкого, но новый знакомый сам поддержал ее.

— Лубенецкий, хотите сказать, — подхватил Яковлев. — Да, да, он самый. А я... имею честь представиться... я — Гавриил Яковлевич Яковлев, следственный пристав...

— Ах, — вдруг вскочила с дивана Грудзинская, — я и не заметила, как вы вошли!

— Ничего, пожалуйста, не беспокойтесь, сударыня, — проговорил Яковлев, — мы люди простые и невзыскательные.

— Рекомендовать вам, мадемуазель Грудзинская, Гавриила Яковлевича, нечего: он сам себя отрекомендовал. Я только могу прибавить, что с настоящего дня это лучший мой друг.

— Очень приятно, — грациозно проговорила Грудзинская и протянула Яковлеву руку.

Яковлев, пожимая руку Грудзинской, в упор смотрел на нее.

Девушка, однако, не смутилась и предложила, мило и грациозно улыбаясь, обоим кавалерам присесть в ее скромном девичьем уголке.

Кавалеры присели.

Разговор сначала не вязался: все чувствовали себя как-то не на месте, тем более что не было ни малейшего предлога к тому, для чего они, собственно, собрались и кому что, собственно, было надобно. И Яковлев, и Лубенецкий, и Грудзинская чувствовали, что они взяли на себя новые роли, но какие именно — определить не могли, и, кроме того, они не знали еще и тех целей, каких они достигнут в этих новых своих ролях. Да и для чего вся эта странная комедия? Яковлев уже успел убе-

даться, что с Лубенецким ему не совладать. Лубенецкий постигнул ухватки Яковлева, какими он достигает своих целей, и потому несколько не опасался его, будучи заранее убежден, что он, во всяком случае, сумеет отпарировать удары сыщика. Панна Грудзинская была почти ни при чем и вознамерилась все делать ощупью, по чутью, так как Лубенецкий не посвятил ее ни в какие тайны, а сделал только туманные намеки на что-то. Оставалось одно, и то только для одного Лубенецкого, интересоваться Метивье, которого он не знал, но имя которого смутило его и задело за живое.

Но на этот мотив ни Яковлев, ни Лубенецкий как-то не наталкивались.

Был уже одиннадцатый час вечера, и новые знакомые начинали чувствовать неизбежное в таких случаях утомление, как вдруг Яковлев, ни с того ни с сего, предложил новым знакомым прокатиться по Москве или где-нибудь за городом.

— Вот прелестная мысль! — воскликнула Грудзинская. — Я совсем не знаю Москвы, и мне бы хотелось посмотреть на нее ночью, да

еще при таком чудном освещении, как от кометы! Да это просто прелесть!

— А вы согласны, пан? — спросил Яковлев у Лубенецкого, который искоса и как-то странно посматривал на сыщика.

— Ну, разумеется, — поторопился ответить Лубенецкий.

— А нам это будет и очень даже кстати, — продолжал Яковлев. — Ведь мы с вами, правду сказать, довольно-таки натянулись «ерофеичу». У меня, признаюсь, голова как пивной котел. Кроме этого, — нагнулся сыщик к Лубенецкому, — мы можем, пожалуй, увидеть и... вы знаете кого, — договорил он, понизив тон.

— А, неужели? — как бы удивился Лубенецкий. — Ну что ж, это хорошо! Только на чем же мы поедем с вами, я, право, не знаю.

— О, об этом не беспокойтесь, — подхватил Яковлев. — У меня приготовлена славная парочка лошадок с просторным экипажем. Я ведь человек весьма предупредительный и за услугу всегда плачу услугой. Признаюсь, мне весьма понравилось, что вы, пан Лубенецкий, оставили записочку, которой пригласили меня к прелестной панне. Я доволен знаком-

ством с вами, — обратился он к Грудзинской, — весьма доволен.

— Да? — мило улыбнулась панна.

— Верьте мне, — впился в нее глазами сыщик.

— В таком случае будемте друзьями, — протянула ему руку панна.

Яковлев пожал хорошенькую ручку панны и подумал: «Она таки плотная девчонка, надо узнать ее покороче».

Совсем другая мысль пробежала в хорошенькой головке панны. «Какой урод! — мысленно восклицала она. — И что за охота Владиславу знакомить меня с такими медведями!»

Через полчаса этот медведь усаживал панну в экипажец, который ожидал их у ворот, и, усаживая, очень свободно брал ее то за стан, то за руки. Панне это было далеко не по нраву, но она не давала ни малейшего вида, что это ей неприятно. Лубенецкий тоже смотрел на все равнодушно. Один только вопрос бродил в голове его: «Куда и зачем везет меня этот паук?»

Паук между тем не переставал весело бол-

тать и вертеться перед панной. Усадив панну как можно удобнее, Яковлев сел рядом с Лубенецким, отпустил Тертея Захаровича, который стерег экипажец, и стегнул лошадок. Прозябшие лошади быстро тронулись, и экипажец, покачиваясь, равномерно загромыхал по пустынному переулку, направляясь к Поварской.

Ночь была тихая, холодноватая и сухая. Знаменитая комета 1811 года, поднявшись с севера, стояла уже на горизонте. В это время комета была не особенно еще велика, но тем не менее блестящий хвост ее немногим уступал свету полной луны. Странно и величественно блистала на небе эта чудовищная комета. Мириады звезд, окружая свою хвостатую сестру, казалось, для того только и мерцали еле видимо, чтобы еще рельефнее высказать ее таинственную величавость.

Все время, с августа 1811 года по январь 1812-го, по ночам, появляясь в прозрачном тумане, не сходила дивная звезда эта с горизонта. С вечера она поднималась с севера и до полуночи шла на восток, часа в три ночи она подвигалась на юг, а перед рассветом двига-

лась на запад и там исчезала вместе со звездами «Под лосем», пониже которых она появлялась. Хвост у кометы был замечательно блестящ, но не имел постоянной длины. По астрономическим измерениям наибольшая величина хвоста простиралась до 172 миллионов 200 тысяч русских верст. На небесном своде хвост кометы занимал 23R. 15 октября, в момент наибольшего приближения к нам кометы, расстояние ее от Земли простиралось до 28 200 000 географических миль. Комета со стороны, обращенной к солнцу, имела светлое кольцо, ширина которого была не менее 6000 географических миль. 7000 географических миль отделяли его внутреннюю сторону от центра ядра. Ядро имело в диаметре 653 географические мили. По глазомеру хвост кометы казался сажени в две, а шириной, в конце, около полуаршина.

Ни одна из комет, появлявшихся после, не была похожа на комету 1811 года, поэтому и неудивительно, что в народе по случаю появления кометы ходили самые чудовищные слухи. Народ русский видел в появлении ее какое-то грозное предзнаменование и назвал

ее «Метлой Божьей».

Как ни странно, но, право, трудно не согласиться с тем, что с необычайными явлениями природы сопряжены бывают нередко и необычайные явления в мире. Примеров было множество. Может быть, это не более как простая случайность, но ведь и все в жизни, не исключая даже и самого нашего появления на свет, подчинено случайности. И никакие вычисления, и никакие выводы не в состоянии пошатнуть силы случайности. Все вычисления и все выводы, которыми человек хочет объяснить известное неожиданное явление, не идут далее самих выводов и являются сухим домыслом чего-то, тогда как совершившийся факт остается в полной силе...

Народ в необычайных явлениях природы всегда видит какое-либо знамение, и что же? — весьма редко ошибается...

Чем это объяснить?

Большое разлитие рек в 1812 году, упомянутая комета, страшные бури, землетрясения в Дубоссарах, в Балте и в Очакове как бы предвещали русскому народу что-то недоброе. В Москве бушевали сильные ветры, нес-

шиеся с юга и запада. От этих ветров все небо затмевалось пылью, трещали заборы, и сорванные с домов крыши были далеко унесены ураганом и с грохотом падали на крыши других домов.

«Быть великой войне!» — говорил народ русский, глядя на все эти необычайные явления, и — война совершилась, и именно совершилась великая война, которая потрясла всю Европу.

Народ не ошибся. Явления природы, явления, может быть, случайные, подсказали ему то, чего ни Талейрану, ни даже самому Наполеону не подсказали их дальновидные умы.

Не только простой народ, но и люди развитые смотрели на комету 1811 года как на нечто знаменательное. Каждый вечер на улицах и площадях можно было видеть толпы народа, которые с удивлением и страхом взирали на это небесное явление! И в самом деле, она производила на всех какое-то странное впечатление.

Произвела она это впечатление и на героев нашего повествования. Панна Грудзинская, как более восприимчивая, первая загля-

делась на красавицу звезду и, Бог весть почему, взгрустнула. Владислав Лубенецкий, подерживая одной рукой девушку, углубился в самого себя и тоже как будто взгрустнул. Один Яковлев казался веселым и разбитным. Он бойко похлопывал вожжами, покрикивал «эх вы, котятка!» и с особенной ухваткой нагибался вперед, чтобы раззадорить пристяжную, которая, под ходок, резво нагибала голову и откидывала задними ногами. Видимо, Яковлев любовался своими лошадами и хвастал ими.

— А, что? Каковы? — обратился он к Грудзинской, которая сидела между ним и Лубенецким.

— Да ничего, — ответила холодно девушка.

— Как ничего? — как бы обиделся сыщик. — Объеденье просто, а вы — ничего. Впрочем, вам не до лошадей теперь. Вы, я вижу, любуетесь на комету.

— Странное явление! — проговорила точно про себя девушка.

— Не к добру, сударыня! — ответил Яковлев.

— Вы думаете? — вмешался в разговор Лу-

бенецкий.

— Уж верно! — отрезал Яковлев и повернул лошадей в какой-то узкий переулок.

— Куда же мы, однако, едем? — полюбопытствовал Лубенецкий без всякой цели.

— А мы едем к Метивье, — ответил сыщик, — в Останкино. Он там живет.

— А, — протянул Лубенецкий и потом вдруг прибавил:— Так поезжайте пошибче... холодно что-то...

— О, это можно! — сказал сыщик и, особенным образом тряхнув вожжами, крикнул:— Ну, милые! Ну, трогай!

Милые действительно тронули, потому что наши герои вскоре очутились в Марьиной роще, а потом и в самом Останкине.

XVI

В описываемое время вовсе еще не было моды выезжать летом на дачи, да в дачах и не было еще особенной надобности. Москва, состоящая тогда из каких-нибудь девяти тысяч домов, была вся покрыта садами и огородами, а некоторые дома, преимущественно же вельможных особ, просто утопали в зелени. Поэтому многие из зажиточных домовла-

дельцев жили в своих московских домах, как на дачах. Потребность на дачи явилась не ранее двадцатых годов, когда Москва начала быстро отстраиваться и вследствие этого тесниться.

Метивье, однако, нашел для себя более удобным жить в Останкине, как бы на даче, среди невзрачных хибаренок дворовых людей вельможи.

Хибаренки эти раскиданы были на правой стороне усадьбы от Москвы и производили такой неприятный контраст с барским домом и так грустно лепились на занятой местности, что во время приезда в Останкино императора Павла сделано было распоряжение прикрыть невзрачность их шпалерами насаженных деревьев. Деревья эти, густо разросшиеся, существуют и доныне.

С легкой руки доктора после мало-помалу начали поселяться там на лето и другие. Раньше прочих избрали Останкино своим летним местопребыванием артисты московского театра, которые устраивали там концерты и серенады. Собственно же дачи начали строиться в Останкине не ранее двадца-

тых годов, когда переехал туда один богатый грек и начал давать там, в саду, блестящие балы с музыкой и фейерверками.

Поселившись в Останкине, ловкий француз весьма скромно маскировал свои проделки и, кроме того, находился вне всякой опасности со стороны администрации. При случае ему очень легко было улизнуть оттуда. Предосторожность эта, однако, была совершенно излишней с его стороны. Его никто и не думал преследовать, кроме, разумеется, одного Яковлева, который не упускал его из вида и которого он меньше других опасался. Яковлев, если бы ему понадобилось, нашел бы его и на дне морском, не только в барской усадьбе, в каких-нибудь трех верстах от Москвы. Ловкий француз не подозревал этого и в глубине души своей нагло посмеивался над глупыми москвитями, которые не только приютили его, но даже поставили на пьедестал.

Выше уже говорилось о том, что за Метивье ухаживала целая орава московских аристократок всех возрастов. Теперь скажем, что они не только ухаживали за ним, как за моло-

дым доктором, но даже просто, можно сказать, носили на руках. Ни один великосветский раут или бал не обходился без Метивье, ни одна великосветская особа не позволяла себе в случае мнимой или настоящей болезни пригласить другого доктора, кроме Метивье. Метивье просто царил в высшем обществе, и принимать его у себя в доме считалось «хорошим тоном». Видя все это, ловкий француз, однако, не увлекался успехом и держал себя как-то особенно скромно и мило. Куда бы его ни приглашали, он являлся без замедления, чтобы ему ни предлагали за визит — он брал, и брал так просто и с такой благодарностью, что пациентке или пациенту ничего более не оставалось, как чувствовать к нему самую глубокую признательность. Таких признательных пациентов и пациенток у Метивье было так много, что он положительно не успевал посещать их. Однако он ухитрялся как-то удовлетворять всех и всякого, кто к нему обращался. Мало этого, Метивье даже был не прочь и от благотворительности: он посещал многих бедных дворян и не только не брал с них за визиты, но даже покупал для

них на свой счет лекарства. Словом, это был любимец тогдашнего общества, и едва ли кто, кроме Яковлева, знал, что это за птица.

Птица эта между тем жила, пользовалась успехом, тихо и таинственно напевала везде нужные песни и, по обыкновенной русской беспечности, вовсе не подозревала, что в ее гнездо намерены залететь коршуны.

Обогнув озеро, Яковлев направил лошадок в так называемую в Останкине Садовую слободку, где находился скромный, но весьма уютный домик Метивье.

В тот день Метивье возвратился домой ранее обыкновенного. Как-то случилось так, что вечером он был совершенно свободен. Объездив десятка два домов, где хворали разные Полины и Зизины, его почитательницы, он по привычке прошелся немного по окрестностям усадьбы и заперся у себя в кабинете. Метивье жил совершенно один. У него не было даже домашней прислуги, кроме старика кучера и старика сторожа, которые жили на дворе и не смели появляться в комнатах барина. Метивье сам убирал и запирали свои комнаты, которых, по-видимому, и запи-

рать-то не было особенной надобности: все в них отличалось простотой, скромностью и не было ни малейшего намека на роскошь. Такая скромная, даже можно сказать, бедная жизнь доктора, зарабатывавшего сотни и тысячи рублей, не могла не обратить внимания его почитателей и почитательниц, которые жаждали подышать воздухом жилища своего кумира. Но кумир этот под разными благовидными предложениями никого у себя не принимал, а свою скромную жизнь объяснял своими скромными требованиями в жизни. Как бы там ни было, но Метивье жил один и никто его не беспокоил. Даже ни одна его поклонница не проникала к нему. Только и навещал его, и то очень редко, один француз — булочник с Тверской, необыкновенно худощавый и мизерный человек, которого он будто бы лечил от худосочия. Но и этот господин появлялся у Метивье на весьма короткое время. Он обыкновенно приезжал ранним утром и сейчас же уезжал.

Яковлев ни разу не был у Метивье, но тем не менее очень хорошо знал гнездо этой птицы.

Когда экипажец Яковлева загромыхал у ворот домика Метивье, изумленный доктор, с фонариком в руках, не замедлил появиться на крыльце. В темноте ему трудно было разобрать фигуры неожиданных гостей. Он стоял, смотрел и недоумевал, кому это в такую позднюю пору понадобилось побеспокоить его. Но Яковлев скоро рассеял его недоумение. Увидав доктора с фонарем, сыщик довольно фамильярно закричал:

— А! Здравствуй, милейший мой доктор! Как поживать изволишь?

Доктор поморщился и, послав мысленно сыщика ко всем чертям, очень любезно воскликнул:

— О! О! Вы?!

— Да, да, я, милейший мой! — говорил Яковлев, подъезжая к крыльцу. — Да еще не один, с гостями. Уж прошу извинить.

«Что за гости?» — думал доктор, подозревая нечто неладное.

«А, так вот он, этот чучело!» — мысленно восклицал Лубенецкий, обзревая фигуру Метивье с ног до головы.

В свою очередь, и Метивье старался раз-

глядеть фигуру Лубенецкого, который, вылезая из экипажа, поддерживал панну Грудзинскую.

Увидав девушку, Метивье пришел в еще большее недоумение.

Панна Грудзинская, одетая в свой национальный, несколько небрежный костюм, в сумраке вечера показалась ему каким-то необычайным явлением. К тому же молодая девушка так грациозно выпрыгнула из экипажа, что нельзя было не обратить на нее особенного внимания.

Яковлев, тут же на крыльце, представил доктору Грудзинскую и Лубенецкого, под именем Федора Андреева, содержателя кофейни.

Метивье поморщился и с видимой небрежностью протянул ему руку.

Лубенецкому это не понравилось, и он, мысленно назвав француза дураком, тут же решил, что такая птица для него не опасна, и даже усомнился в агитаторских его способностях.

Лубенецкий принадлежал к числу тех людей, которые оценивают человека сразу и оценку свою основывают на совершенных,

по-видимому, пустяках, но тем не менее редко ошибаются.

Совсем иначе обошелся Метивье с Грудзинской.

Девушка произвела на доктора самое приятное впечатление.

Привыкший вращаться в кругу женщин, ловкий, изящный, он рассыпался перед ней в десятках извинений на своем родном французском языке и пригласил в свой скромный уголок.

Панна Грудзинская так заинтересовала его своей особой, что он даже забыл о том неприятном впечатлении, которое произвели на него Яковлев и Лубенецкий.

Когда они вошли к Метивье, он еще более начал заниматься девушкой.

Такое внимание доктора к Грудзинской, внимание с налету, не особенно понравилось Лубенецкому.

А Метивье, как нарочно, делался все более и более не принужденным с девушкой, как будто знакомство их началось не несколько минут назад, а по крайней мере несколько месяцев. Несмотря на то, что хорошенькая

панна старалась отвечать ему короткими «да» и «нет», он все-таки не отставал от нее и действовал в этом отношении не только непринужденно, но даже с некоторой наглостью.

Не предупрежденная Лубенецким, как вести себя с этим новым знакомым, и даже не зная, с кем она, собственно, имеет дело, панна Грудзинская, что с ней весьма редко случалось, как будто даже несколько конфузилась. Лицо ее часто покрывалось еле заметной краской затаенного стыда, что она поставлена в такое странное положение, а в душе накипала досада на Лубенецкого, что он не выведет ее из этой неловкой роли.

Лубенецкий между тем зорко следил за Метивье и каждое его слово наматывал себе на ус.

«Пусть его лебезит, — думал он, — а я под шумок-то и раскушу тебя, мой милый».

Совсем другое бродило в голове ходившего взад и вперед по комнате Яковлева.

Странно, сыщик досадовал на то, что, по видимому, для него не должно было составлять никакого интереса. Он досадовал на Ме-

тивье, лебезившего перед Грудзинской, досадовал за право, которым он пользуется перед хорошенькой девушкой.

«Экой черт мазаный! — ругался он мысленно, — и как скоро! Поди, полюбуйся на него, на лешего не нашего Бога! Вертится как черт перед заутреней, и та слушает его... Что ж это? Зачем же мы приехали? — задавал он себе вопросы, как-то не находясь, чтобы остановить Метивье. — Неужто только для того, чтобы француз полюбезничал с этой дурой?»

И сыщик невольно взглянул на «дуру».

Панна Грудзинская сидела в кресле у стола, несколько откинувшись назад. Яковлеву она видна была сбоку. Он видел ее профиль, на котором, перед светом, даже заметен был легкий персиковый пушок.

«Славный кусочек!» — решил он, и им овладело какое-то непонятное, странное волнение. Он даже почувствовал, как начинают гореть его щеки, стучать виски, а глаза наливаются кровью. Какая-то нервная, лихорадочная дрожь пробежала вдруг по всем его членам. Он припомнил, как она полулежала на диванчике, высунув красивую ножку, потом,

как он ехал с ней, чувствуя округленность ее стана, припомнил — прошелся по комнате, зашел с другой стороны, остановился на мгновение и жадными глазами, как молодой котенок над притаившейся мышью, впился глазами в молодую девушку.

Ни Грудзинская, ни даже Лубенецкий не заметили этого движения со стороны Яковлева.

Метивье был слишком занят девушкой, так занят, что он даже не обращал внимания на главных своих гостей.

Лубенецкий начинал уже чувствовать скуку и разочарование в личности Метивье.

Этот агент, которым он интересовался и которого он готов был побаиваться, показался ему просто болтливым французом, легкомысленным, пустым и даже преглуповатым.

«Неужели это агент? — удивился он. — Быть не может! Савари не настолько глуп, чтобы посылать в Россию таких попугаев! Должно быть, Яковлев соврал из каких-нибудь видов, и больше ничего!» — решил Лубенецкий и, успокоившись, ждал, чем кончится вся эта глупая сцена.

Глупая сцена окончилась тем, что раздосадованный на Метивье Яковлев обратился к нему с довольно грубым вопросом:

— А скажите, пожалуйста, господин доктор, долго ли вы будете таким образом болтать?

Метивье весьма сносно знал русский язык и понял грубость Яковлева, но сделал вид, как будто для него непонятно, что, собственно, сказал сыщик, обратившись к нему. Он очень наивно посмотрел на сыщика и проговорил:

— О, о, вам скучно, я знаю. Но погодите, все обойдется хорошо.

— Конечно, обойдется, без вас знаем. А вы вот что, вы послушайте-ка, что я вам скажу, — проговорил наставительно Яковлев.

Метивье очень любезно обернулся к нему и слегка склонил голову в знак того, что он готов слушать его. Еле заметная искра негодования промелькнула в глазах француза. Видимо, личность Яковлева производила на него омерзительное впечатление, но он знал, с кем имеет дело, и старался, насколько возможно, быть с ним любезным и предупредительным.

Лубенецкий наострил уши.

Сыщик прошелся, потер ладонью свою стриженую голову, как бы собираясь с мыслями, и остановился перед Метивье, вперив в него свои, уже налившиеся кровью глаза.

Метивье, как ни был ловок, но не выдержал этого пронизывающего его насквозь взгляда сыщика и отвернулся под благовидным предлогом высморкаться.

И Яковлев, и Лубенецкий заметили это движение доктора и, как ловкие люди, истолковали в дурную для него сторону.

«Трус, — подумал Лубенецкий, — испугался какого-то дурацкого, телячьего взгляда!»

«Эге, да он робеет!» — решил Яковлев и произнес вслух:

— Дело, знаете ли, пустое... так себе, знаете ли, любопытство одно... и больше ничего...

Яковлев снова прошелся и снова остановился перед Метивье. Видимо, ему хотелось помучить француза, на лице которого отразилось какое-то новое странное недоумение. Находчивый и блестящий в великосветских салонах, испытанный плут и проныра, бывший фискал ордена иезуитов, он вдруг, помимо

своей воли, начал робеть перед невзрачной и пошлой фигурой сыщика и, досадуя на себя, старался казаться как можно более развязным. Он начал покачиваться в кресле, выделывал какие-то такты ногой и рукой, посматривал насмешливо на Яковлева, но все это как-то не вязалось с общим молчанием и было неуместно.

Метивье давно знал Яковлева и знал его как сыщика. Познакомившись с Яковлевым, он, понятно, опасался его, весьма резонно допускал, что сыщик имеет намерение преследовать его. Но Яковлев сначала настолько ловко обходил его, что Метивье решил, наконец, не опасаться сыщика, так как в его действиях ничего не было такого, что подавало бы повод к опасениям. Знакомство с Яковлевым французскому казалась очень обыкновенным. Между тем оно было далеко не обыкновенное и стоило сыщику некоторой заботы. Так как Метивье вращался все более в кругу московских княжон, то познакомиться с ним обыкновенному чиновнику, да еще пользующемуся такой неблагоприятной репутацией, как сыщик, было не так-то легко, не возбуждив

подозрения. Яковлев пустился на хитрость. Одного из своих ищеек он одел превеликим франтом и посадил на статную лошадь с приказанием встретить Метивье на дороге в Останкино и каким бы то ни было способом испугать его лошадей. Ищейка великолепно исполнил свою роль. Испуганные лошади Метивье понесли его во весь опор, кучер свалился, и Метивье находился в самом критическом положении, рискуя с минуты на минуту свернуть себе голову. Яковлев явился его спасителем. Выскочив как будто из-под земли, он с опасностью жизни остановил взбесившихся лошадей Метивье и выручил его из беды. Понятно, после этого случая аристократический доктор не мог не познакомиться с Яковлевым и не узнать, кто он такой, так как по этому поводу в одном из московских журналов: того времени, выходившем под редакцией двух писателей, И. и Н., в похвалу Яковлева была помещена довольно пространная статья, написанная одной великосветской особой, поклонницей Метивье. Кроме этого, от подлежащего начальства Яковлев получил официальную лестную похвалу за свое самоотверже-

ние и даже денежную награду. Разумеется, никому и в голову не приходило, что за повод был к такому истинно достойному поступку знаменитого сыщика. Во всяком случае, совершившийся факт говорил сам за себя. Самоотвержение Яковлева было налицо.

Обладая необыкновенной силой, смелый, дерзкий, находчивый, Яковлев, нередко фискальничая, решался и на более бесшабашные поступки. Особенно много попадался он в неприятное положение, посещая Разгуляй. Разгуляем и по настоящее время в Москве называется местность, где находится вторая гимназия. Громадный дом, в котором помещается теперь гимназия, принадлежал тогда графу А. И. Мусину-Пушкину. Наискось от этого дома находился известный всем гулякам того времени трактир. Кому хотелось погулять втихомолку, негласно, особенно из купеческих детей, те вечерком, заперев свои лавки и собравшись веселой компанией, человек пятьдесят, катили на Разгуляй, в упомянутый трактир, как в отдаленный угол Москвы, где их другие посетители не знали. Там все было к их услугам: и отдельные комнаты, уютные,

гаинственные, и часы с курантами, считавшиеся тогда за редкость, и цыганки-ворожеи, и цыганки-солистки, и хор певцов, и гуслисты, и торбанисты, и милovidные прелестницы для известных целей, словом — все, что только требуется буйством, удалью и расточительностью русского, разгулявшегося человека. При таких случаях окна трактира запирались ставнями или закрывались тяжелыми шторами, и гуляки пировали там от зари до зари. Не одна молодежь проводила там подобные вечера и ночи. Тайком от жен «закатывались» туда и сами почтенные купцы, вследствие чего часто происходили там вовсе неожиданные встречи отцов с детьми, хозяев с приказчиками, приказчиков с «молодцами».

Очень естественно, что Яковлев как сыщик не мог упустить такого заведения из виду. Он делал туда частые набеги по ночам, переодевшись, и редко случалось, чтобы он, там не напал на какой-нибудь след преступления; зато часто случалось, что он должен был отбиваться от целой толпы преследователей, которые не щадили сыщика. Больно доставав-

лось Яковлеву, но доставалось и тем, кто с ним связывался. Достоинно внимания, что на подобные рискованные экскурсии он всегда отправлялся один и, когда начиналась расправа, прямо говорил, кто он такой, засучивал рукава и без шума, без крика вступал часто далеко в неравную борьбу. В большинстве случаев после побоищ в лице своих преследователей он приобретал не врагов, а друзей.

Личности Яковлева Метивье, разумеется, коротко не знал, да и не мог знать. Сыщик казался французу обыкновенным, недалеким чиновником по полицейской части, и больше ничего.

Неудивительно после этого, что Метивье несколько растерялся, когда Яковлев заговорил с ним не только грубо, но даже просто оскорбительно.

— Вам что же угодно? — спросил он у стоявшего перед ним Яковлева, окидывая его с ног до головы искусственно презрительным взглядом.

— Что? — переспросил сыщик насмешливо.

— Да-с! — отчеканил француз.

— А ты вот что... — заговорил Яковлев.

— Ты?! — вскочил перед его носом Метивье.

— Разумеется, ты! — ответил спокойно Яковлев, не моргнув даже бровью. — А то кто же? Доктор небось? Француз? Птица великая? Как же, держи карман!

— А! — схватился Метивье за голову, решительно не зная, чем отвечать на подобную дерзость.

Панна Грудзинская молча впиалась глазами в Яковлева. Сыщик начинал ей нравиться. В ее глазах из уroda он начал превращаться в героя, тем более что Метивье, несмотря на свою красивую и стройную фигуру, несмотря даже на картинность позы, в которой он стоял, схватившись за голову, был решительно жалок перед Яковлевым.

Лубенецкий смотрел на все это, как на спектакль, очень хорошо понимая, чем он кончится. То же самое было и с ним, когда он встретился с Яковлевым. Лубенецкий удивлялся только всезнанию и дерзости Яковлева и не мог не отдать ему предпочтения перед Метивье.

— Чего смею? — улыбнулся Яковлев.

— Да знаете ли вы, — загорячился француз, — что мне знаком сам граф Иван Васильевич! [1] Мне только стоит сказать ему два-три слова, и вас сейчас же выгонят со службы!

— Так-с! — сделал мину сыщик... Со службы!.. Очень хорошо-с... А дальше что же-с?

— А дальше! А дальше!.. — начал заикаться француз.

— Да вот что дальше, — перебил его Яковлев, — дальше вот что: меня со службы не выгонят, а ты прогуляешься в тундры севера.

Метивье вытаращил на него глаза.

— Да, именно, в тундры севера. Ты знаешь, что такое: тундры севера? Вероятно, не знаешь. Так слушай, я тебе; растолкую. Это, братец мой, в Сибири... знаешь, в Сибири... морошка растет и клюква имеется... Славная ягодка клюква! Ешь — не хочу... Ну, вот, братец мой, прогуляешься ты туда, покушаешь кислятинки и скажешь: вот тебе и клюква!

— А! — снова протянул Метивье, смутно догадываясь, что он попал в какую-то ловушку.

— Вот тебе и «да»! — передразнил его Яковлев и вытащил из кармана какую-то бумагу. — Ты это видел? — завертел он бумагой под носом Метивье, — видел?

Взглянув на бумагу, Метивье мгновенно побледнел и опустился в кресло.

«А, спектакль начинает быть интересным», — подумал Лубенецкий.

«Что это такое?» — любопытствовала панна Грудзинская, с сожалением взглядывая на побледневшего Метивье.

Яковлев, между тем искоса поглядывая на Лубенецкого, начал тихо развертывать бумагу.

Бумага эта была — письмо, кругом и мелко исписанное на листке большого формата, палевого цвета.

— А письмецо, знаете ли, любопытное, — щелкал Яковлев по письму двумя пальцами, — право, любопытное. Хотите, господа, прочту? Мало того что оно любопытное, но даже и поучительное. Оно написано по-французски, но мне его перевели. Ведь мы народ необразованный, медведи, — куда нам по «французскому»! Вот хлебы французские я

еще кое-как уважаю, и то потому только, что они пекутся из русской пшеницы. И какой казус случился со мной на днях по случаю покупки белого хлеба. Иду по Тверской, иду и думаю: дай-ка я зайду к булочнику Артуру и съем у него теплый хлебец. Только это я подумал, а сам Артур тут как тут! «А, — говорю, — здравствуйте, мусью!» — «Бон жур, — отвечает, — бон жур!» Ну и прекрасно, бон жур так бон жур. Гляжу: несет в корзиночке хлебы. Спрашиваю: «Что это?» — «Хлебы, хлебы, — отвечает, — несу за Тверской застав». — «Кому?» — «Тому-то и тому-то». Прекрасно. «Дай-ка, — говорю, — съем один хлебец». — «О, нет! — загалдел, француз, — такой хлеб не хорош, там лучше, в булошной, иди в булошной». — «Нет уж, — говорю, — все равно, хороши будут и эти». Взял хлеб, разломил, и — можете ли вы себе представить — хлеб оказался с сюрпризом. Другой, третий — то же самое. Зачем, спрашиваю, столько сюрпризов, ведь накладно? Молчит француз и хлопает глазами. Вижу, малый струсил: думает — не заплачу за хлебы. Ну вот, очень мне нужно! Я не подлец! Взял и заплатил за все эти хлебы.

Схватил деньги поджарый француз и бежать. А, думаю, обрадовался, жадная шельма, русскому рублю! Ну, что ж, Бог с тобой, думаю, беги, беги! Но мало мы вас, шаромыжников, кормим на Руси, прокормим, думаю, и тебя. Ушел француз, я к себе ушел и давай хлебы уписывать и сюрпризы рассматривать. Дряннь сюрпризы. Француз везде виден: все норовит ниточкой да бирюлечкой отделаться, не то что наш брат, русский человек, на пятак щей нальет — в три дня не съешь. Представьте же, что за сюрприз! Бумажки какие-то, да еще исписанные! Ну, думаю, надул француз, каналья, да делать нечего, начал рассматривать. Смотрел-смотрел, смотрел-смотрел... и... что бы вы думали?..

Яковлев остановился, поочередно взглянул на каждого из слушающих и вдруг рассмеялся, рассмеялся своим нехорошим, холодным и дребезжащим, как старая пролетка, смехом...

XVII

В полные глаза смотрела Грудзинская на Яковлева, не упуская из виду ни малейшей игры его некрасивой физиономии во время длинного рассказа. Странно, эта некрасивая

физиономия, эти кошачьи, налившиеся кровью глаза, эта стриженная голова с коротким туловищем начали казаться ей не такими уж дикими и отвратительными, какими они показались ей с первого раза, при давешней встрече. Она даже начала находить во всей пошленькой обыденной фигурке Яковлева как бы нечто невиданное, привлекательное, переходящее незаметно в своеобразную красоту.

«Так вот он какой! — не отдавая себе отчета почему, раздумывала девушка. — Вот он какой, этот медведь, который мне нынче показался таким нехорошим, таким гадким! А-а-а!»

И девушка, сама удивляясь своей более чем нелепой находчивости, сравнила Яковлева с Наполеоном.

«Такой же маленький, — рассуждала она, — такой же толстенький, кругленький, глаза тоже имеют особенную силу и...»

Но «и» панны Грудзинской как раз сошелся с «и» Яковлева, и поэтому думы ее были прерваны совершенно неожиданно.

Яковлев после своего «и» рассмеялся, а

панна Грудзинская кинула короткий взгляд на Лубенецкого, желая хоть слегка уловить, какое впечатление произвел на него рассказ Яковлева. Панна напрасно кинула этот взгляд.

Лубенецкий молчал, подперши правой рукой голову, и лицо его изображало совершенное равнодушие, как будто все окружающее несколько его не интересовало.

Бог весть почему, но это равнодушие Лубенецкого не понравилось хорошенькой панне.

«Что он надулся? — задала она себе вопрос. — Должно быть, сердит на Яковлева за то, что он знает наши тайны, как мы пересылаем письма. Ну, сердись, голубчик, а он все-таки знает», — как бы даже радовалась она подобному открытию и решила, наконец, что Яковлев, кто бы он там ни был, хлопец славный.

Метивье все это время сидел, как на иголках. Он хорошо понимал ту песню, которую поет сыщик, знал, чем она кончится, но, несмотря на всю свою ловкость и опытность в разных делах, решительно не знал, как ему выйти из такого неловкого положения. Тем

более ему невыносимо было подобное положение, что он был поставлен в него каким-то незначительным судебным чиновником. Административного преследования, собственно говоря, в подобном случае Метивье почти что не боялся. Благодаря сильным связям он, во всяком случае, из обвинения незначительного чиновника мог бы выпутаться и выйти сухим из воды. Как обвинителя он Яковлева не боялся.

Но он боялся этих двух новых лиц, Лубенецкого и Грудзинской, которых он не знал, что они за люди и зачем они, собственно, к нему приехали, боялся их, как свидетелей своего неожиданного глупого положения, о котором они могут разблаговестить по всей Москве, что для него было хуже всяких административных преследований. Глупая мода в среде аристократического общества, где он царил, могла бы пошатнуть его репутацию, а вместе с тем и все то, что держалось и основывалось на этой — репутации. Яковлев, по мнению Метивье, подобной молвы пустить не мог, так как он вращался в такой среде людей, которая в то время еще сильно презира-

лась. Молва этой среды не достигла бы своей цели. Совсем иначе взглянул Метивье на Грудзинскую и Лубенецкого. Панну Грудзинскую он сразу оценил по достоинству. Он увидел в ней девушку, которая не только вращалась в лучшем кругу людей, но даже и царила в нем. Следовательно, она была для него опасна. Что же касается Лубенецкого, то доктору как-то не верилось, чтобы это был простой торгаш, содержатель кофейни. Он чуял в нем нечто другое и по пословице «рыбак рыбака видит издалека» даже уловил в нем что-то хищническое, себе подобное. Впрочем, это была совершенно мимолетная догадка, которая сейчас же выветрилась у него из головы. Во всяком случае, и Лубенецкий возбудил в докторе подозрение.

Метивье далеко не был так прост, как показалось Лубенецкому. Способности этого залетнего хищника едва ли чем уступали способностям галицкого еврея. Замечательно, что и Метивье почувствовал такое же неприятное чувство к личности Лубенецкого, какое Лубенецкий чувствовал к Метивье. Еще хорошенько не зная друг друга, они уже были вра-

гами. Стоило только кому-нибудь кинуть между ними кость, чтобы они сцепились и начали грызть друг друга.

Эту-то кость Яковлев и хотел кинуть между ними.

Сыщик очень хорошо знал, что каждый из них, отдельно взятый, нисколько не уступит ему в ловкости и не поддастся, поэтому он и задумал поссорить их. А чем поссорить их, как не тем, что дать им знать, что каждый из них доносит о русских представителям агентуры. Какие донесения писал Лубенецкий и как их пересылал по назначению, Яковлев не знал, но был вполне, уверен, что он их пишет и пересылает. Донесения же Метивье он давно уже перехватывал, давал их переводить, аккуратно подшивал письмо к письму и таким образом составлял довольно интересную коллекцию французской болтовни. Посылая свои донесения, оплошавший агент и не подозревал, что они не достигают своей цели, мало этого — хранятся не у французского министра полиции Савари, а у московского незначительного чиновника, и читает их не Наполеон Бонапарте, который по подобным

донесениям составляет понятие о России, а какой-то Гаврила Яковлевич Яковлев.

Увидав в руках Яковлева свое письмо, Метивье предположил, что сыщик перехватил только последнюю его корреспонденцию, и быстро соображал о новом способе пересылки донесений за черту города, откуда они беспрепятственно, через руки особых посыльных, шли уже по назначению.

Может быть, читателю покажется странным, что агентами французского правительства принимались самые хитрые меры для перенесения писем за черту города, когда они могли пересылать их обыкновенным способом, по почте или посредством частного лица. Такие уловки объясняются тем, что в описываемое время в народе уже ходили слухи об агентах и об их письмах, которые они посылают в Париж, и поэтому было сделано тайное распоряжение задерживать на почте все подозрительные письма, у застав, негласно, осматривать проходящих и проезжающих из города и вообще следить по всем окраинам города, чтобы не проносили подозрительных писем. Распоряжение это, как большинство

полицейских распоряжений, было страшно только на бумаге, на деле же оно было вовсе не опасно: никому не было особенной надобности следить за какими-то подозрительными письмами, а если кто и следил, так следил мимоходом или просто для очищения совести. По крайней мере, за все время не было задержано ни одного серьезного, идущего к делу, письма. Так, задерживали пустяки какие-то, и то больше по любопытству, чем по обязанности. Агентам, однако ж, распоряжение это было известно, и они, по очень естественному чувству хоронить концы в воду, для пересылки своих писем пускались на разные уловки.

Пускался на них и Метивье. Уловка его — переносить за город письма в хлебах — была, как видно, задумана в недобрый час. Яковлев, как видите, лакомился и хлебами булочника Артура, и письмами Метивье.

Минут пять продолжал смеяться Яковлев. Минут пять неприятный и холодный смех его нестерпимыми диссонансами звучал в ушах Метивье и Лубенецкого. Оба они, и Метивье и Лубенецкий чувствовали, что сыщик смеется

именно над ним и, кроме того, готовит им еще какой-то сюрприз. Одна панна Грудзинская, — или по странной случайности, или просто из женского каприза, который иногда превращается во что-то невозможное и неестественное, — не находила в смехе Яковлева, действительно гаденьком смехе, ничего неприятного. Напротив, смех этот даже нравился ей, мало того — ей самой хотелось посмеяться над Метивье и Лубенецким таким именно смехом, а не другим. Почему? Для чего? Она сама не знала, да и не старалась знать. Она просто подчинялась минутному влечению, Бог весть из чего зародившемуся. Может быть, это было чувство тайного негодования, что она, девушка молодая, красивая, выросшая с лучшими понятиями о жизни, силой обстоятельств поставлена в необходимость вращаться в среде людей, с которыми она не имеет ничего общего и которые смотрят на нее, как на орудие своих целей. А может, и потому, что Лубенецкий, который начинал ей нравиться, умалил себя в глазах своими темными отношениями с Яковлевым и Метивье, тем более что он, Лубенецкий, не

потрудились даже объяснить ей, куда она приехала, что должна делать и что из всего этого выйдет. Хотя она и решилась отдаться на волю Лубенецкого, зная по опыту, что он не поставит ее в неловкое положение, но женское самолюбие не переставало напоминать ей, что она не более как игрушка в руках Лубенецкого и, кроме того, игрушка из-за денег. Скрепя сердце, молодая девушка переносила это оскорбление. Пылкая и надменная от природы, бывшая богиня варшавских салонов, она нелегко переносила его, но все-таки переносила. Прозорливый в других делах, Лубенецкий как-то не замечал этого и, несмотря на зарождавшуюся в глубине души его страсть к хорошенькой панне, смотрел на жертву ее как на должную дань и даже не оценил этой жертвы. Девушка, понятное дело, инстинктивно чувствовала подобное отношение к ее особе, и с этого вечера какое-то смутное негодование на что-то и на кого-то начало понемногу закипать в ее груди. Сочувствие девушки к глумлению Яковлева над Метивье и, стороной, над Лубенецким было как бы первым протестом за оскорбление, на-

несенное ее девическому чувству.

Странно, Яковлев, — при всей своей гаденькой, будничной натуришке вне специальности, в которой он действительно являлся мастером своего дела, — чутьем понял положение девушки; мало того, он даже подметил в ней, вскользь, между делом, сочувствие к себе.

Сочувствие Грудзинской польстило самолюбию Яковлева, и ему захотелось как бы даже порисоваться перед девушкой.

— Так вот-с, — обратился он прямо к ней, вдруг перестав смеяться, — дело-то какого рода: в хлебах оказались письма. Прелюбопытные, как видите, хлебы. Нехорошо только одно: что ни письмо, то все одно и то же содержание. Это, стало быть, рассылалось циркулярно. Я сразу понял. Впрочем, письмо настолько интересно, что достаточно и одного. Других и не надобно. Что ж, господа, хотите — прочту?

Тут сыщик, не дожидаясь ответа, которого бы он, вероятно, и не получил, развернул письмо, повертел его с минуту в руках, искоса поглядывал на побледневшего Метивье, и на-

чал читать выразительно, отчетливо, медленно.

«Продолжаю характеристику московского высшего общества, — читал он, — московское высшее общество, прежде всего, стадо баранов: куда один, туда и все. Потом — это толпа дикарей, азиатцев, которые ни на что не способны, кроме как на глупые оргии. В политике ничего не смыслят, хотя иногда и занимают ею. Что же касается отношения их к престолу, к императору, то...» Яковлев остановился.

— «То...» А, каково начало-то! — воскликнул он, поглядывая на всех.

Лубенецкий сделал гримасу недоумения. Грузинская улыбнулась. Метивье сидел в своем кресле без движения и, видимо, обдумывал что-то решительное.

— Вот если бы это высшее общество, — косился между тем Яковлев на Метивье, — то есть, как сказано в письме, это стадо баранов, да узнало бы, что про него пишут хорошие люди, вот то-то бы взбеленились. Как вы, господа, думаете на этот счет? Ведь взбеленились бы?

— Конечно, отзыв не особенно-то хорош, — проговорил внушительно Лубенецкий. — Я сам, как человек принятый в среду русских людей и сделавшийся сам в некотором роде русским, нахожу его даже неприличным. По крайней мере, такой отзыв нехорошо рекомендует писавшего письмо. Впрочем, что же вы не продолжаете, Гавриил Яковлевич? Продолжайте. Письмо, в самом деле, обещает быть интересным. Продолжайте. Мы вас слушаем.

— Довольно! — вдруг встал Метивье перед самым носом сыщика.

— Как так — довольно! — искусственно удивился Яковлев, несколько отступая назад.

— Так... довольно... Я покупаю у вас это письмо...

— Покупаете? — спросил, растягивая слоги, Яковлев. — Да?

— Да... покупаю... если вы только продадите его...

— Отчего ж не продать? Продам!.. Но... только... извините меня... не дешево...

— Сколько вам?

— А как бы вы думали?

— Мне все равно!

— Ведь мы трое, не один я, — придется платить всем.

— Всем? — поднял голову Метивье.

— Ну, разумеется, всем, а то как же!

— А... — протянул француз и обратился к Грудзинской: — Вам сколько прикажете?

Грудзинская выпучила на него глаза и не отвечала. Метивье обернулся к Лубенецкому:

— Вам?

— Дорого-с! — ответил, делая насмешливую гримасу, Лубенецкий.

— Однако?

— Вот пусть вам скажет Гавриил Яковлевич.

— Я каждому плачу по сто червонцев, — проговорил отчетливо Метивье, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Угодно?

Яковлев надул губы:

— Маловато-с, батюшка, маловато-с. Самому дорожке стоит.

— Сколько же?

— Да как бы вам сказать, — зачесал в затылке Яковлев, — не мешало бы еще прибавить столько же.

— А! — взялся за голову француз, — еще столько же! Это, стало быть, шестьсот?

— Да-с, шестьсот-с, — осклабился сыщик. — Да и то, по правде сказать, не особенно-то много... Дело, знаете ли, такое... Самому дороже стоит. Верьте мне, как честному человеку, — дурачился Яковлев...

— Хорошо, я согласен на шестьсот, — проговорил сквозь зубы Метивье.

— В таком случае позвольте получить, — произнес злорадно сыщик, делая легкое наклонение корпусом.

— А, получить? — как-то особенно воскликнул Метивье и направился в соседнюю комнату. — Хорошо, я сейчас вынесу, — докончил он уже у самой двери и скрылся за нею.

Яковлев быстро очутился у этой двери.

— Держите ухо остро и — берегитесь!..

— Я это предвидел, — прошептал Лубенецкий, переседая к Грудзинской.

Грудзинская сидела и недоумевала, что все это значит.

XVIII

Когда Метивье вошел в отдельную комна-

ту, оставив гостей, он прежде всего опустился на минуту в кресло, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть от нахлынувших на него чувств неожиданности и негодования.

Непрощенные гости засели в его воображении какими-то чудовищными призраками..

Метивье боялся их. Они были страшны для него, и он смутно чувал в них своих непримиримых врагов. И тем более они поражали его, что он не знал, чего они, собственно, хотят от него и что за цель их преследования.

И странно, больше всего испугала его пана Грудзинская.

Насколько она сначала очаровала его, настолько теперь казалась ему страшной и таинственной.

Ее неожиданные улыбочки, ее взгляды и даже продолжительное молчание казались испугавшемуся доктору чем-то многозначительным.

Он решил, что именно она, а не кто-нибудь другой, и есть настоящая виновница всей этой комедии, превратившейся для него в драму, что именно она и руководила несколькими минут назад всеми действиями Яковлева.

Доктор решил даже, что и письма-то его добывала она, а не Яковлев. Словом, молодая девушка превратилась для него в таинственную повелительницу целой шайки каких-то негодяев, преследующих из корыстных целей таких честных и благородных людей, как он.

Примеров в этом роде в своей долгой практике Метивье видел немало.

Кроме того, на его взгляд, все говорило не в пользу панны Грудзинской. Зачем бы ей, например, такой молоденькой, хорошенькой и, по всем данным, образованной, связываться с каким-то содержателем кофейни и сыщиком? Потом, зачем она ездит по ночам с такими пройдохами, как они, и посещает совершенно незнакомых ей людей. Наконец, что значили эти непонятные улыбочки, эти быстрые взгляды то на одного, то на другого, это подозрительное молчание?

«Она, она виновница всего!» — мысленно восклицал Метивье и решил остановиться на ней, как на цели своего преследования, в защиту собственной особы.

«Да, да, я должен именно ее преследовать и от нее защищаться, — быстро соображал

Метивье, — так как она, а не кто-нибудь другой, руководит этими двумя негодьями. Но как это сделать? С чего начать? Они меня захватили врасплох, и мне нет времени даже одуматься. О, проклятье! — ругался он мысленно, — как это я так оплошал? И перед кем еще! Перед какими-то уродами с того света, на которых и смотреть-то противно, не только говорить с ними! Все это Артур, дурак, на-творил! Не сумел писем перенести! И на кой черт он запрятал их в хлебы! На кой черт! Дурак! Дурак! Дурак!» — начал он честить своего собрата и в бессильной ярости схватился за голову. Потом вскочил.

Голова его горела. Он весь дрожал как в лихорадке. Мысли путались.

— А-а-а! — теребил он свою голову, быстро шныряя из угла в угол небольшой комнаты. — Вот дело-то какое! Какое дело-то!

Дело действительно для француза было весьма неприятное, тем более, что оно застигло врасплох, набежало, так сказать, с налету. Разом осел ловкий агитатор, почуяв, что он живет в стороне, далеко не такой глупой, как ему казалось. Факт в его глазах был налицо, и

факт сам по себе довольно знаменательный. Его, Метивье, поймали, как школьника, и, имея все данные для преследования, не преследовали, однако же, а трепали, как мальчишку, за вихор.

Сотни дум, сотни соображений, ни к чему не ведущих, пробежали в голове Метивье, и чем более он думал, тем более запутывался в разных доводах и предположениях. В конце концов, для него ничего более не оставалось, как уплатить условленную сумму денег, получить письма и — выжидать.

Решив таким образом, он полез в какой-то ларчик, вытащил замшевый мешочек и появился с ним перед своими гостями.

— А я думал, вы уж и не придете, — встретил его Яковлев. — Долгонько что-то. Для таких дорогих гостей, как мы, можно было бы и поторопиться.

— Вот деньги, — проговорил дрожащим от волнения голосом Метивье, подавая Яковлеву замшевый мешочек, — тут как раз шестьсот.

— И прекрасно! — произнес сыщик, взвешивая на руках мешочек.

— Позвольте же письма!

— А, письма? Вот они, получите! Мне такой дряни не надобно.

И с этими словами Яковлев вручил Метивье пачку писем. Тот схватил их быстро и начал читать.

— Все, — проговорил Яковлев, — и не беспокойтесь пересчитывать. Их было шесть, шесть я вам и передал. Письмо в письмо.

Сосчитав письма, Метивье торопливо засунул их в карман и вдруг поднял голову.

— Теперь прошу вас оставить меня! — произнес он заносчиво, указывая на дверь.

— Ого, вот как! — помолчав, сделал удивленную гримасу Яковлев.

— Да-с, прошу! — нагло воскликнул Метивье.

«Фу, какой же он олух царя небесного!» — подумал Лубенецкий.

Панна Грудзинская подумала что-то в этом же роде, отя и оправдывала запальчивость француза.

Минута, однако ж, была скверная: Лубенецкий как-то кисло улыбался, а молодая девушка, очень естественно, чувствовала себя совсем неловко.

Не смущался ничем только один Яковлев. Для него, по-видимому, не существовало нигде, никогда, ничего удивительного и неожиданного. Он невозмутимо смотрел на взъерошившегося француза и, видимо, готовил ему нечто новое, ибо лицо его уже начинало принимать подходящее к таким случаям выражение.

— Эге-ге, так вот ты какой гусь лапчатый! — начал он, укоризненно покачивая головой. — А я думал, ты совсем не таков. Я был о тебе лучшего мнения. Скажите на милость: ему добро делают, а он за это порог указывает. Ну, брат, это не по-русски. У нас так не водится. По русскому обычаю что-нибудь одно: или приятель — рубашку долой, или ворог, что ни встреча — в зубы. А ты как же? Ты, когда плохо — труса праздновать, а выпутался из беды — и знать, мол, тебя не знаю, и ведашь, мол, тебя не ведаю, вот тебе Бог, а вот порог. Ну, коли ты такой, так у нас, брат, в Москве, на таком коне далеко не уедешь: живо рылом в грязь попадешь, а то и того хуже — на другую кобылу сядешь. Чай, знаешь, что такое у нас кобыла? А коли не знаешь,

так я тебе, братец мой, растолкую. Это, видишь ли, вещица такая, на которую положат, да и начнут стегать по известному месту... Любо-дорого!.. Только будешь ножками подрыгивать да всех святых вспоминать... Впрочем, я не злопамятен... вестимо, русская косточка... все к добру воротит... Будем говорить так: ты вот нам, мусью, за эти письма заплатил шестьсот червонцев... Дело хорошее — любовная сделка... Ну, а что бы ты, например, будем, так говорить, заплатил нам вот за эти письма... в другом роде?

Тут Яковлев с какой-то особенной кошачьей ухваткой запустил руку в карман мундира и вытащил оттуда довольно объемистую пачку писем.

— Здесь у меня настоящий архив, — похлопал он по карману. — Право, настоящий архив; если понадобится, и еще вытащу. Мусью, ты видел это? — сунул он бесцеремонно пачку писем к носу Метивье, постепенно переворачивая письмо за письмом.

Метивье взглянул на них и замер на месте. Он узнал свои прежние письма. Как гром, поразила его эта неожиданная выходка сыщика.

Он хотел что-то сказать, он хотел что-то крикнуть, но язык изменил ему.

«Все кончено! — мелькнула в голове его, — я в руках этих негодяев».

Доктор почувствовал, что ноги его подкашиваются. Тихо, как сноп, он упал в кресло. В глазах его зарябило: Лубенецкий смешался с Яковлевым, Яковлев с Грудзинской, и наоборот... словом, в голове его сделался полный кавардак, превратившийся, наконец, в какой-то бесконечный и тяжелый звон...

Ловкий француз попался в силки...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Под именем верещагинского погребка в 1811 году всем «питухам» и «бражникам», слонявшимся по Покровке, лучшей московской улице того времени, была известна довольно чистенькая полпивная лавки, содержащая на откупу второй гильдии московским купцом Николаем Гавриловичем Верещагиным.

Купец Верещагин подобных лавок содержал по Москве несколько. Кроме того, он занимался еще содержанием и гербергов в Москве.

В то время герберги были некоторым подобием нынешних гостиниц для приезжающих, а раньше, при Петре Великом — не более как питейные дома с закуской. Петр любил эти герберги и никогда не упускал случая выпить в них рюмку анисовки. Его примеру следовали и «орлы гнезда Петрова».

Покровская полпивная лавка Верещагина была одной из доходнейших его лавок. Она находилась надалеко от дворца Разумовского

и храма Воскресения Христова в Барашах. Бойкое место, ежегодное гулянье у Покрова, шумные прогулки в село Преображенское, масленичные катанья московских кутил — все это служило для верещагинского погребка очень хорошим подспорьем. Погребок торговал на славу. Купец Николай Гаврилович крестился и благодарил Создателя за ниспосланную ему благодать.

— Слава тебе, Господи, — говорил он, — покровская лавочка — моя золотая мошна. Живу с ней, как у Бога за пазухой.

И действительно, купец Верещагин жил, как у Бога за пазухой. Хотя он и объявлял ежегодный купеческий капитал не более как в двадцать тысяч, но у него деньжонок водилось куда более. Хорошо знавшие Николая Гавриловича поговаривали, что он нелишний был бы и по первой гильдии и что у него деньжонок и куры не клюют. Похаживали на его счет и несколько темноватые слухи, да ведь про кого же не говорят чего-либо непристойного? Все под Богом ходим.

Николай Гаврилович не обращал на эти слухи внимания и жил себе да поживал, как

подобает жить всякому православному христианину и русскому купцу.

В описываемое нами время Николаю Гавриловичу было уже лет за пятьдесят. Он был женат вторым браком на купеческой дочери Анне Алексеевне. От первой жены имел сыновей, Михаила и Павла, и дочь Наталью. Бодрый старик еще не покидал дела: сам обо всем заботился, сам всюду заглядывал. Юноши-сыновья были ему пока плохой подмогой. Он мало на них надеялся. Однако старший — Михаил — кое-как помогал старику отцу. Но помощь его только в том и заключалась, что он ежедневно объезжал отцовские полпивные лавки и герберги и беседовал там, по любви к наукам, со встречными знакомыми. Особенно любил он Покровскую полпивную лавку, где проводил нередко по несколько часов сряду. Заглянем в полпивную лавочку в одно из воскресений немного дней спустя после рассказанного нами в первой части.

На стенных часах полпивной, с шипеньем и хрипом, кукушка прокуковала десять. Николай Гаврилович был человек глубоко религиозный, поэтому у него положено было за

непременное и святое правило, чтобы его полпивные отпирались не ранее окончания обедни. Стало быть, полпивная была пуста.

Сиделец Жук, как его называли посетители за необыкновенную черноту лица, только что вышел из своей комнатки, помещавшейся рядом с полпивной, и начал приводить в порядок все находящееся за стойкой. Полпивная давно уже была убрана мальчиком. Сделав, что надо и зевнув раз-другой, Жук, которого настоящее имя было Григорий Власов, хотел уже было снова уйти в свою комнату, чтобы, пользуясь свободным временем, поболтать со своей молодой женой, как в окно, выходящее на черный двор, кто-то слегка стукнул чем-то твердым.

— Кого там еще несет! — проворчал с неудовольствием Жук, остановившись у двери.

За окном послышался голос:

— Гриша, отопри-ка, брат. Я.

— А, Матвей Ильич, — обрадовался Жук. — Сейчас, милый, сейчас.

С этими словами Жук торопливо отпер дверь.

— Милости просим, — говорил он, — милости просим, Матвей Ильич. А я, признаться сказать, думал, еще кто-нибудь. Рассердился даже.

— Рассердился? — позируя, заговорил вошедший, — сиречь, без всякого рассудку, забыл, что я за человек такой есть! Ах, какой же я несчастливый!

Тут говоривший поднял правую руку кверху и картинно, видимо шутя, произнес:

— О, немилостивые боги! Доколе вы будете меня мучить? Чем я вас прогневил? До сих пор сносил великодушно все ниспосланные от вас несчастья. Но теперь уже недостает более сил моих вытерпеть сего мучения. Или вы не знаете, что сие для того только претерпеваю, что не хочу нарушить данного от вас закона? Какое ваше правосудие? Для чего вы не изливаете вашего гнева и не погубляете тех варваров, которые не имеют к вам должного почтения?.. Для чего? — возвысил он вдруг голос и геройски шагнул в сторону, остановив взгляд на сидельце.

Жук стоял с разинутым ртом и слушал говорившего с видимым удовольствием.

— Ах, Господи! — воскликнул он, когда тот кончил и стал перед ним в выжидательной позе. — Да как же хорошо! Просто век бы слушал не наслушался! Уму непостижимо, как это все у вас, Матвей Ильич, складно да ладно выходит. Ну, вот, кажись, возьми меня и скажи: Григорий Власов, вот тебе тысячу рублей — выдумай так, — не выдумаю, право слово, не выдумаю, разорвусь, а не выдумаю!

— Сии слова, — заговорил как бы сосредоточенно Матвей Ильич, — приводят меня в великое сомнение. Я не знаю, что на оные отвечать.

— А то: садись-ка, друг милый, — предложил Жук, — да разопьемте-ка, вот, для праздничка, одну-другую кружечку пивца. Славное у нас пиво.

— Разопьем? Сиречь: наполним наши головы хмельными спиртами, отчего и делается наша компания очень веселее, — произнес Матвей Ильич и сел у одного из столов, к окошечку.

— Вот так-то лучше будет, Матвей Ильич, — начал, садясь возле него, Жук. — Благо праздник: народу покудова нет, мы и

побалагурим с вами кой об чем. Уж больно я люблю с вами, Матвей Ильич, разговоры вести. Такой вы умница, и рассудительный такой, и так много всяких стран знаете на всей земле, что проста ума помраченье... И как это вы умудрились?.. Эй, Митенька! — кликнул Жук, — пивка! Да получше! Там в уголку бочонок... Знаешь?

Торчавший где-то в углу мальчик, худенький, с выкатившимися на лоб глазами, кинулся за пивом. Через минуту пиво стояло на столе.

— Милости просим, Матвей Ильич, — угощал Жук. — Пожалуйста-с.

— Можно-с! — проговорил Матвей Ильич, взявшись за кружку.

— Уж какое пиво... одно слово: пей — не хочу.

— Ой ли?

— Откушайте.

Матвей Ильич залпом опорожнил кружку.

— Отменное пиво, надо правду сказать. И в «царьградском» такого не получишь.

— Где уж! Цареградский мы тоже знаем! Что это вас давно не видать, Матвей Ильич?

— Дело было. Отменное дело.

— Вона что! Узнать можно?

— Секрет покуда.

— У вас все секрет. Чай, опять какую-либо историю сочиняете?

— Есть тот грех.

— Поскорей бы. Уж больно я ваши истории читать люблю. Страсть как люблю! «Английского милорда», почитай, всего на память выучил. Потом «Картуша», «Ваньку Каина». Ах, Ванька Каин! Вот бесшабашная головушка-то! Матвей Ильич, ужли ж все это правда?

— Что это?

— Да вот хоть бы, например, и «Повесть о приключении английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фридерики-Луизы с присовокуплением к оной бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии»?

Матвей Ильич сделал многозначительную гримасу и так же многозначительно посмотрел на Григория Власова.

— Это, брат... тут, брат... как бы тебе сказать, брат!.. это... это — назначение этакое, свыше, вдохновением у стихотворцев называ-

ется, так сказать — Олимп в голове свирепо
действие свое производить начинает...

— Так, так! — закачал головой сиделец, видимо ничего не понимая. — Так! В «Милорде» так и сказано: «Олимп — гора в Греции, а у стихотворцев небо». «О, боги! — вскричал Милорд, — что я слышу!» — начал декламировать сиделец. — «Не сонное ли мечтание представляется глазам моим, или тихим ветром с высоты Олимпа от благости богов сие предвещание приносится! Не ты ли, чистейшая...» Пенничку? — вдруг прервал он декламацию. — Не прикажете ли, Матвей Ильич, а?

— Пенничку? Можно! И ежели ты не сочтешь за тягость угощение сие, то я от благости твоей пенник с великим моим аппетитом кушать буду.

— Сейчас, друг мой! — вскочил сиделец и скрылся в своей комнатке.

Матвей Ильич остался в полпивной один.

Матвей Ильич, по фамилии Комаров, был автор и доселе читающихся в среде известного класса людей повестей и рассказов «Английского милорда», «Картуша», и «Ваньки Каина».

В описываемое время, то есть в 1811 году, Матвею Ильичу Комарову, этому автору-волшебнику, автору-магу и чародею, было уже за пятьдесят лет. Это был худенький и юркий старичок, с маленькой, редкой, клином бородкой, небольшого роста, немного сутуловатый и немного державший голову набок. Мелкие черты лица его украшались довольно толстым носом и губами. Особенно велика была нижняя губа. Волосы он носил небольшие, зачесывая виски по тогдашней моде вперед. Лоб имел широкий и открытый, глаза серые, добродушные. Вообще вся фигура автора-мага, при первом на него взгляде, производила совсем неблагоприятное впечатление. Но стоило только Матвею Ильичу разинуть рот — и неблагоприятное впечатление мгновенно исчезало. Он говорил тихо, спокойно, и в его самых даже обыденных фразах было столько наивной простоты, столько чего-то детского, недосказанного, добродушного, что душа невольно располагалась к нему. У него была бездна знакомых, и из числа их не было ни одного, кто бы не любил его. В свою очередь, и он любил всякого. Врагов у него не бы-

ло. Он был кроток, тих, скромн и боязлив до мальчишества. Однако ж, несмотря на это, он любил прогуливаться по ночам и вовсе не страшился заходить в разного рода вертепы, куда бы, пожалуй, не решился заглянуть человек и с более храбрым характером. Достаточно того, что Комаров коротко был знаком с Яковлевым и нередко сопровождал его в похождениях. Это были весьма странные приятели. Но об этом речь впереди. Слушая Матвея Ильича, никак нельзя было предположить, чтобы он был автор таких кровожадных произведений, как «Картуш» и «Ванька Каин». Однако ж он был им, и — замечательно — книжная речь не имела ничего общего с разговорной речью. Только иногда, и то ради шутки, он позволял себе вставлять в разговорную речь книжные, вычурные по тогдашнему времени, фразы и цитировать места из собственных своих произведений. По происхождению Матвей Ильич был московский мещанин и грамоте выучился самоучкой. Произведениям своим, под которыми подписывался «Матвей Комаров, житель города Москвы», он не придавал никакой цены и значе-

ния. Он создавал их, по его словам, «на усладу и отдых благополучных россиян», и благополучные россияне, как видите, достойно оценили его. «Милорд» читается и по настоящее время, участь, выпадающая на долю немногих сочинений, и, может быть, долго еще читаться будет. А сколько «Милорд» обогатил материально!

Недолго пришлось Матвею Ильичу ждать сидельца с пенником.

Через каких-нибудь минут пять Григорий Власов появился с небольшим кувшинчиком в руках и, весело улыбаясь, поставил его перед Комаровым. Но только он успел это сделать, как в дверь, которая выходила на улицу, раздался стук.

— Наш, — проговорил, отходя от стола, сиделец, — по стуку знаю, что наш. Что его сегодня так рано!.. Всегда после обедни является...

Сиделец отпер дверь.

В полпивную вошел молодой человек, высокого роста, в длинном, несколько щегольском купеческом сюртуке, с картузом и палкой в руках.

Сиделец низко ему поклонился.

— Все ли в добром, Михаил Николаевич?

— Ничего, слава Богу, — проговорил молодой человек и перекрестился на все четыре стороны.

Это был старший сын купца Николая Гавриловича. Верещагина — Михаил Николаевич Верещагин.

II

Михаил Николаевич давно знал Комарова и был с ним в самых дружеских отношениях.

Комаров любил молодого Верещагина за его привязанность к наукам и знаниям, очень редкую черту в среде тогдашнего купечества.

Верещагин любил Комаров, как автора «Английского милорда» и других произведений, весьма ему нравившихся и, кроме того, как доброго, честного и умного для своей среды человека, с которым можно было поболтать о всякой всячине. Была и еще одна причина, может быть, более важная, по которой Верещагин не забывал Комарова, но о ней речь впереди.

Верещагину шел двадцать первый год.

Купеческие сынки того времени, более даже, чем теперь, представляли замечательную

касту безобразников и олухов царя небесного. Мало того, что редкий из них умел читать и писать, так еще грамота в их среде считалась некоторым позором для купеческого звания, и грамотеи изгонялись ими, как недостойные козлища. Достойным качеством в их среде считался не ум, не грамота, а буйство и удаль без границ, пробным камнем для которых были драки, пирушки и безумные ночные оргии где-нибудь на окраине города в излюбленном трактирщике, в котором допускалось все, что только могла выдумать необузданная натурашка гуляки купеческого сынка.

Подобных трактиров было немало раскидано по Москве-матушке.

Молодой Верещагин вовсе не принадлежал к числу безалаберных и безнравственных сынков, мало того — он даже сторонился и бежал их. Из купечества у него было очень мало знакомых. Он имел с ними деловые отношения, по поручениям отца, далее отношения его с ними не простирались, почему он в среде купчиков, с которыми ему по необходимости приходилось сталкиваться, и прослыл «его благородием, дворянчиком, белоручкой».

Подобное прозвище вовсе не оскорбляло молодого Верещагина. Напротив, он даже в глубине души своей гордился им, чувствуя свое превосходство над шутниками, и старался поддерживать в них о себе подобное мнение. Иногда он даже корчил из себя «дворянчика» и «недотрогу» и заметно рисовался своими познаниями. А познания его заключались в том, что он весьма сносно знал французский и немецкий языки, что было совершенной редкостью в среде купечества. Николай Гаврилович Верещагин, отец нашего героя, невзирая на то, что сам лично не жаловал наук, считая их, по тогдашним понятиям купечества, «соблазном на всякие скверны», сыну все-таки позволил учиться. Он отдал его в существовавший тогда Коммерческий пансион, где молодой Верещагин и кончил курс в 1810 году, в том именно году, когда пансион разрешено было преобразовать в Коммерческую практическую академию, существующую и по настоящее время. Верещагин вышел из пансиона одним из первых учеников и хотел поступить в университет, но отец решительно воспротивился этому, приказав ему лучше

приноравливаться к торговле, чем бредить бесполезными науками: и того, мол, довольно, что знаешь, а выше влезешь — больней упадешь. Сын покорился отцовской воле, тем более что ученый сын не особенно-то сильно порывался «доконать», как он говорил, науки. Собственно говоря, для него лично, даже и без отцовских внушений, было довольно того, что он знал, больше для него и не требовалось. После пансионного житья-бытья, житья-бытья с горем пополам, молодому человеку больше, разумеется, хотелось пожить на воле, своим умом, чем снова закабалить себя на долбление да выслушивание разных курсов. Он отчасти даже рад был, что отец остановил его от поступления в университет. И совесть чиста, и пожить вволюшку можно. Молодой человек и начал жить вволюшку, согласно с обстоятельствами, в которых он находился. С самого раннего детства молодой Верещагин был удалый и веселый малый, с оттенком чувствительности. Говорил быстро, часто не соображая, о чем говорил, но в этом говоре было много «огонька», который допускал слушающего предполагать, что молодой

человек обладает весьма недюжинным умом. Высокий, не дурен лицом, с постоянной приятной полуулыбкой на губах, не то детски-наивной, не то юношески-доверчивой, он на всякого, знакомящегося с ним, производил приятное впечатление. С ним хотелось говорить, хотелось его слушать. Но он был так еще молод, так еще не была сформирована его личность, что все проявления его нравственных качеств являлись каким-то брожением, порывистым инстинктом с примесью известной решительности и самоуверенности, доходивших, как у всех юношей, до крайности. Отличительной чертой молодого человека была привязанность. С кем он сходил, кого избирал, тот уж делался настоящим его другом и приятелем, для которого у него ничего не было заветного, ничего святого. Словом, молодой Верещагин в приятельских отношениях был, как выражается народ, человек — рубаха.

Такой именно любовью он полюбил и Комарова. Комаров для него был все: и друг, и отец, и брат. Как человек пожилой, достаточно видевший свет и людей, достаточно ис-

пивший житейской горечи, годившийся Верещагину действительно в отцы, Комаров и смотрел на молодого человека, как на сына, поощряя его в любви к чтению «многих и иных сочинителей достойных», чтобы оттого еще более «ум свой в великую строгость привести». Так шутя говаривал Комаров Верещагину, когда у них разговор заходил о науках. А такой разговор заводился у них весьма часто, ибо молодому любопытству Верещагина, в виду такого бойкого и многознающего сочинителя, каковым на его взгляд казался Комаров, конца не было.

Встреча в своем погребке Комарова как нельзя более обрадовала молодого человека. Он кинулся обнимать любимого сочинителя, сел возле него, и вскоре между ними, по обыкновению, завязался разговор.

— Что, брат Миша, — говорил Комаров, выпив одну-другую чарочку пеннику, — дела-то мои нынче не ахти как хорошо пошли. Плохо дело.

— Матвей Ильич, что же вы мне давно этого не скажете? — с участием промолвил Верещагин. — Мы, слава тебе Господи, не в хиб-

ренке живем и не с хрену на квас перебиваемся: есть кое-что.

— Ты про что же? — с некоторым недоумением спросил Комаров.

— Как про что! Тебе плохо живется.

— Вона что! Ну и что ж?

— Да то: сколько тебе примерно надобно денег-то?

— Мне денег? — улыбнулся Комаров. — Эх ты, милый мой! Плохо же ты меня знаешь, коли лезешь ко мне с деньгами-то! Молод ты еще, Миша, как погляжу, разумом не вышел. Да на что мне твои деньги-то, подумай сам? Даровые деньги-то! Что я, нищий какой, что ли! Обирало! Правда, не ахти как живу, бывает и нуждишка, всяко бывает, а все-таки ни к кому за даровым грошом не пойду. Да и много ли мне надо, Миша, милый мой? Много ли? Так, оборвыши какие, и довольно! Нас не ахти сколько: дочка, жена да я. Вот и все, сам знаешь.

— Как не знать! — тихо проговорил Верещагин, почему-то вдруг наклонив над столом голову, немного покраснев.

— Ну, вот! Жена у меня благодать, дочка —

тоже. Принесу что — ладно, не принесу — тоже ладно. Сегодня сыр с маслом, а завтра хлеб с водицей. И не ропщут. Живу, как у Бога за пазухой. А он: денег не надо ли? На что мне деньги! Все сокровище мое — Надя, дочка моя милая. Пусть-ка кто добудет такое сокровище! Пусть-ка кто попробует добыть! Эх, Миша! — как-то особенно добродушно воскликнул Комаров, почувствовав влияние хорошего пива и крепкого пеннику, снова пропустил чарочку последнего. — Миша, что ж ты-то? Хлебни хоть одну... Ведь пьешь...

— Пожалуй.

Верещагин выпил. Молодой человек вдруг что-то присмирел и начал смотреть все больше в сторону, как бы избегая взгляда Комарова. Тот заметил это.

— Миша, что ты! Аль рассердился на меня, что я тебе наговорил такого-этого?

— Нет, Матвей Ильич, и не думал, верьте мне, — ответил искренне Верещагин, наливая себе еще чарочку пеннику.

— Ну, то-то! Да ведь странный ты какой! — продолжал Комаров. — Заговорил я вовсе не о том, что мне плохо живется. Явилась у меня

другая плохота. А какая, хочешь знать?

— Вестимо, хочу, — ободрился молодой человек, предчувствуя, что Комаров непременно скажет ему что-нибудь особенно любопытное.

— Вот в чем, Миша, сынок мой, дело, — начал Комаров. — Задумал я по заказу типографщика Решетникова сочинить новое повествование, под наименованием: «Похождения знаменитого сыщика, или Московские норы и трущобы, с присовокуплением рассказа, как живут-поживают воры, грабители, разбойники и всякого иного калибра злодеи». Задумал, ан и не выходит что-то у меня это повествование. Написал я как-то некоторое количество листов. Начал я так: «Воры, грабители и всякого иного калибра злодеи солнца светлых лучей не любят, ибо уподобляются совам, кои толки по ночам бодрость и добычливость свою начинают, и выходят по тому времени, когда солнце лучи свои скрывать станет, а приятная луна зачнет показываться на горизонте и звезды ясные по чистому небу блеск свой испускать начнут». Да как прочел я это начало сыщику Яковлеву, так тот и рас-

хохотался, как полоумный. «Что ты, говорит, Матвей Ильич, вздор-то городишь! Пиши-ка ты, говорит, лучше «Милордов аглицких», а до сыщиков и настоящих разбойников тебе еще далеко. Не поймешь, ты, говорит, Матвей Ильич, их, да и отличить не сумеешь разбойника от честного человека». — «Как так?» — спрашиваю. «Да так, — смеется он, — не отличишь, и все. Нынче, говорит, совсем другое время стало, чем тогда, когда, как ты начал своего «Милорда», еще европейские народы не все приняли христианский закон, но некоторые находились в баснословном, языческом идолослужении. Теперь время другое. Теперь разбойник не кроется в лесах дремучих. Напротив, говорит, он живет среди честных людей и между них одним из честнейших кажется. Вот что. А что ты про ночь заговорил, так это тоже отменная чепуха. Настоящие разбойники уж если разбойничают, так разбойничают среди бела дня, при народе, и народ не только не хватает их, а еще любит-ся на них. Вот, говорит, недалеко ходить, у меня есть два разбойника. Посмотри на них: пречестнейшие люди, мало того — в почете у

других, да еще в каком почете-то! Им кланяются, их любят, даже чуть ли не вместо образов ставят. Вот они каковы, настоящие разбойники-то! А ты тут «уподобляются они совам!». Признаюсь, слова Гаврилки привели меня в крайнее смущение, и я, право, не знал бы, что предпринять с повествованием, если бы он не предложил мне познакомить меня с ними. «Может быть, говорит, ты и раскусишь их, а тогда уж и напишешь что-либо дельное, толковое, похожее на правду». Вот что, Миша, заставило меня призадуматься, — продолжал Комаров, — вот что отменно поразило меня, и я грущу и чую, что дело плохо. Устарел, вижу, к гробу иду и уж не могу, как прежде, тешить людей своими повествованиями. Эх, Миша, надо быть сочинителем, надо любить дело, крепко любить, чтобы уразуметь, как это для меня горько!.. Впрочем... Эх!.. Выпьем, Миша! — заключил Комаров свою длинную речь, наливая две чарки пеннику. — Выпьем, брат! Авось веселье посетит нас.

Оба выпили, выпили молча, сосредоточенно.

— Домой приду, Надя, дочка, выпить не

даст, — улыбнулся Комаров, ставя на стол опорожненную чарку. — Скажет: «Полно тебе, батюшка, не пей, нехорошо». И послушаю ее, и не стану пить. А ведь знаешь, Миша, выпить я не люблю.

Сказав это, Комаров добродушно рассмеялся и поднял глаза на сидевшего молча Верецагина.

— Ах, Миша, я и забыл сказать! Надя все вспоминает тебя. Говорит: «Что это Михаил Николаевич не приходит? Не рассердился ли?»

— За что ж мне сердиться-то! — тихо проговорил Верецагин и покраснел, как вареный рак. — Так, времени не было, вот и не приходил, — добавил он, растягивая слова.

— Эх вы, молодежь! — промолвил многозначительно Комаров и потрепал Верецагина по плечу. — Все-то вы так!.. То да се, да это...

Верецагин молчал и смотрел в угол, хотя в углу положительно ничего не было, на что бы можно было смотреть.



На другой день после свидания в полпив-

ной Верецагин решил побывать у Комарова.

Комаров жил на Покровке, у церкви Никиты Мученика, занимая довольно хорошенький флигелек с не менее хорошеньким садиком.

Поэт в душе, мечтатель, Комаров только в этой роскоши себе не отказывал.

Во флигельке своем он жил уже лет двадцать и решил во что бы то ни стало дожить в нем век свой, ибо флигелек был свидетелем его лучшей радости: в первый год, как он переехал в него, жена подарила ему первенца — дочь Надю, которая составляла все его утешение, всю его надежду и все его благо. Потом, во флигельке этом, он начал свое литературное поприще: там были написаны и «Милорд», и «Картуш», и «Ванька Каин», произведения, которые доставили ему лестную известность в Москве тогдашнего времени, но, разумеется, не в среде литераторов и журналистов, не в среде людей, считающих себя почему-то выше других, а в среде простонародья, в среде «голудвы кабацкой», которая в нем, как говорится, души не чаяла.

Матвей Ильич, не придавая цены своим

произведениям, гордился, однако же, тем почетом, который отдавался ему всеми знакомыми. Как дитя, он радовался тому, что везде, куда бы он ни приходил, его принимали словно бы родного. Больше он ничего от чужих людей и не требовал, больше он от них ничего и не желал.

Желал он только одного, и то в своей семейной жизни: желал он возможного счастья для своей дочери Нади. И, Боже мой, чего бы он не сделал, на что бы не решился для нее! Каждый день, в какое бы время ему ни пришлось возвратиться домой, он искал дочь. Привыкшая к ласкам и бесконечной любви отца, дочь, в свою очередь, любила и лелеяла старика, и нередко, ожидая его, просиживала целые ночи напролет. Матвей Ильич любил «выпивать», и «выпить» иногда более чем следует. Это была его единственная слабость. Поэтому чаще всего он возвращался домой уже навеселе или даже совсем, возвращаясь, как говорится, «лыка не вязал».

Дочь встречала его.

Без жалоб, без упреков, без малейшего признака брезгливости, она ухаживала за от-

цом, как только может ухаживать милая женщина, и укладывала его спать. В подобных случаях Матвей Ильич, широко открыв глаза на дочь, вздрагивая и поводя руками, всегда старался сказать что-то приятное дочери, но губы его только шевелились, не выпуская слов благодарности, и он благодушно улыбался. Только уложив отца, дочь шла сама на покой, в свою крошечную комнатку, выходящую окнами в сад.

Наутро, проснувшись, Матвей Ильич смутно припоминал происшествия вчерашнего дня, припоминал безропотную, ухаживающую за ним дочь и в тысячный раз давал обещание исправиться, но при первом же удобном случае снова напивался пьян, и снова дочь повторяла привычную для нее роль няньки подгулявшего отца.

Матвея Ильича не то смущало, что он являлся домой не в нормальном положении: такое положение он вполне считал нормальным и даже приличным более или менее всякому порядочному человеку. Нет, Матвея Ильича смущало то, что дочь его, его милая, добрая дочь Надя, не спит для него ночей,

ждет его и ухаживает за ним, не особенно-то приятным в нетрезвом виде стариком. И это сильно смущало его.

Встречая утром дочь, он чувствовал самое томительное угрызение совести и даже боялся взглянуть на невольную виновницу своих страданий. Он обыкновенно старался разговаривать с ней, разговориться не сразу, а понемножку, обиняками, как бы невзначай.

И в тот день, когда Матвей Ильич встретился в полпивной с Верецагиным, он возвратился домой в беспокойном, как он выражался, состоянии духа. Размышления по поводу новой повести привели его в некоторое уныние. Расставшись с Верецагиным, автор «Милорда» встретил еще одного приятеля и, разумеется, не упустил случая окончательно прийти с ним в беспокойное состояние духа.

Дочь, по обыкновению, долго ждала отца. Мать давно спала.

Анна Степановна, жена Матвея Ильича, была бесконечно тихая и кроткая женщина. Несколько вялая, несколько неповоротливая, с какой-то навсегда застывшей грустью на чисто русском приятном лице, она, казалось,

ничего не видела, что вокруг нее происходит, а поступки мужа считала для себя святыней. Она вполне была уверена, что все, что бы муж ни сделал, сделал к лучшему. «Матвей, Ильич знает, что делает, — говорила она соседкам, когда те указывали, что и не след бы Матвею Ильичу придерживаться чарочки, — его дело, я ему не указ».

И действительно, она была не указ почтенному автору. Почтенный автор не обращал на нее ни малейшего внимания, хотя и любил, как только может любить муж в пятьдесят лет, проживший с женой около четверти века. Главной причиной того, что Матвей Ильич оставил свою супругу в покое, было то, что она не понимала его. Матвей Ильич, великий любитель и знаток греческой мифологии, отчасти истории и классической литературы, находил приятным потолковать про старину, сделать сравнение настоящего века с веком минувшим и при этом наговорить с три короба нравоучений, изречений великих мудрецов, афоризмов, своих и чужих, и всякого другого сброду мудрствований рода человеческого. Понятно, что он обращался с ними и

к жене своей, как более близкому существу. Но Анна Степановна, увы, слушала его, разинув рот, и мало того, что не понимала, о чем шла речь, но даже и не любопытствовала, что все это значит. Матвей Ильич пробовал было посвятить жену в таинства мифологии, истории, но жена оказалась совершенно холодным ко всему этому существом, и Матвей Ильич махнул на нее рукой. «Нет, милая моя, не для тебя история писана», — сказал он ей, оставляя ее на будущее время в покое. К радости Матвея Ильича, начала подрастать дочь, и он все свое внимание, всю свою любовь сосредоточил на ней.

Надя родилась не в мать, но и не в отца. Не было у нее ни материнской вялости, ни отцовской подвижности. Но она поняла и полюбила отца, хотя никогда или почти никогда не говорила ему о том и вообще была скупа на ласки. Она даже казалась несколько сухой и заносчивой. Мать и отец побаивались дочери. Когда Наде было лет пять, Матвей Ильич, как он выражался, «раскусил» дочь и решил, что она будет необыкновенная женщина. В это время Матвей Ильич писал

«Английского милорда». Синие, грубые листы бумаги, на которых созидалось столь знаменитое впоследствии произведение, нередко оставались на столе еще недописанные и неприведенные в порядок, ибо, созидавая, Матвей Ильич имел своевольную привычку бегать в соседний погребок за вдохновением. Однажды, вдохновившись несколько через край, он возвратился домой и нашел немалое количество листов своего произведения изорванными в клочки. Оскорбленный автор схватился за голову. Кто изорвал? Как он смел? Подобрал клочки, позвали Надю, так как более не на кого было взвести подозрение.

— Ты? — спросили у нее.

Надя взяла в руки клочки, повертела их, посмотрела на озлившегося отца и проговорила наивно:

— Нет, папаша, не я.

— Как не ты? — злился отец. — Кто же больше?

— Не я, — снова проговорила девочка добродушнейшим тоном.

Отец стиснул кулаки.

— Не ты?

Девочка, удивленная озлоблением отца, подняла на него свои кроткие детские глазенки.

Это еще более озлило хмельного Матвея Ильича.

— А, так ты еще запираешься! — заорал он и тут же, засучив рубашонку, высек дочь самым жесточайшим образом. Надя взвизгнула раза три и потом во все время, пока на ее молоденькое, нежное тело сыпались удары розог, упорно молчала. Через несколько дней Матвей Ильич достоверно узнал, что порвала его произведение не дочь, а одна соседка-кумушка, завернувшая перемолвить одно-другое словечко с горе-горькой, по ее мнению, Анной Степановной. Соседка сначала вытерла произведением Матвея Ильича засаленные руки, а потом уже, в пылу разговора, и порвала. Матвей Ильич раскаялся в своем поступке, тем более что это был единственный случай его жестокости. Наедине Матвей Ильич, от природы человек добродушный, не злой и не жестокий, даже всплакнул не раз, не зная, чем объяснить свой поступок. С этого

времени он всячески начал задабривать дочь, но дочь все как-то дичилась его, и ласки, которые он ей расточал, принимала с некоторым снисхождением. Между отцом и дочерью легло нечто разъединяющее. Это «нечто» не покинуло дочь и в то время, когда она из девочки превратилась в двадцатилетнюю красавицу. Тем не менее она любила отца. Отец любил ее еще более и в то же время как-то странно побаивался. Он всегда старался оправдаться перед ней.

— Кажется, я вчера, Надя, — говорил Матвей Ильич на другое утро после свидания с Верещагиным, сидя в кафе за чашкой кофе, — кажется, я вчера, Надя, встретил... как его, бишь?..

Тут Матвей Ильич начал тереть лоб и поглядывать в сторону. Голову у него ломило. Хотелось опохмелиться.

— Кого, папаша? — спокойно спросила дочь, очень хорошо понимая бесхитростную тактику отца, повторявшуюся почти что ежедневно с некоторыми только, весьма незначительными, вариантами.

— Да вот... как его?.. — путался Матвей

Ильич, не желая почему-то при жене указывать на Верещагина... Тот, как его...

— Ах, мало ли у тебя знакомых, Матвей Ильич! — ввернула свое слово сонливая Анна Степановна, — не упомнишь всякого-то... где упомнить!.. Народ все хороший... не упомнишь всякого-то... А все-таки любопытно было бы знать, кто бы это такой был...

— Может быть, Решетников, папаша, типографщик?

— Нет, не Решетников.

— Савельев?

— Нет, не он. Савельева я третьего дня видел. Выпил с ним. Вот и вчера... — вдруг взглянул Матвей Ильич на дочь, ободренный тем, что дочь разговорила с ним и, видимо, не сердится на него... — Вот и вчера... Никак, знаете ли, нельзя было... выпили несколько... потом еще... Ты уж прости меня, Надя, — переменил он неожиданно тон, — что я, может быть, когда пришел поздно ночью, что-нибудь такое-этакое...

— Полно тебе, папаша, — возразила дочь. — Мне-то что же!

— Нет, нет, этак нельзя, — как бы начал

читать себе нравоучение Матвей Ильич, ни к кому собственно не обращаясь. — Так нельзя... Что это в самом деле! Вчера пьян, сегодня пьян... Этак, пожалуй, будешь пить-пить, и скука одолеет. А скука — нехорошо... Скука вещь очень опасная. Это страшный бич рода человеческого, — уже начал философствовать Матвей Ильич. — Право! Вот и тираны: Тиберий, Нерон, Калигула... Жили, например, жили — наслаждались, пьянствовали... От пьянства — скука, от скуки — жестокость. Как ты думаешь на этот счет, Надя?

— Папаша, мне кажется, что Тиберий не от пьянства был такой жестокий. Я читала.

— Тиберий? Ну, Тиберий — очень может быть. А уж Нерон, ты там как хочешь, был презамечательнейший пьяница. По кабакам таскался, по трактирам тоже.

— Разве, папаша, — спросила с усмешкой дочь, — в древнем Риме были кабаки и трактиры?

— Еще бы!

— Так и назывались: кабак, трактир?

— Ну, не так... Таверны там разные, лупунары... Да ведь это все равно... Нет, ты там

как хочешь, а Нерон был презамечательнейший пьяница. Я даже хочу о нем написать целое повествование, которое назову так: «Нерон, сын Домиция Агенобарба, пятый римский император, тиран, пьяница, с присовокуплением к оному рассказу о муках неопитов и о сожжении Рима с музыкой поджигателя».

— С музыкой поджигателя? — удивилась дочь. — Это как же?

— А вот так же! С музыкой, и все!

— Непонятно что-то. Расскажи.

— Ну, нет, даром не узнаешь, — проговорил заискивающим голосом Матвей Ильич.

— Знаю, папаша, к чему ты речь заводишь. Тебе опохмелиться надобно. Так я уж приготовила.

— Умница ты моя! — умилился вдруг Матвей Ильич, целуя в голову дочь... — Вот ты всегда так... балуешь меня, старика... Спасибо, тысячу раз спасибо... Что делать! Слаб, немощен... Люблю выпить... Только ты не беспокойся, Надя... я сегодня одну-другую чарочку, и довольно;.. Право!.. Где же пенничек-то? Принеси-ка.

Дочь принесла.

Выпив довольно объемистую чарочку пеннику, Матвей Ильич оживился. Анна Степановна ушла куда-то.

— Что ж, папаша, про музыку-то?

— Э, пустяки! Бот с ней, музыкой-то! Есть другая музыка, — произнес Матвей Ильич, оглядываясь и понизив тон.

— Вот как! — неопределенно проговорила девушка и насала смотреть на свои руки.

Матвей Ильич выпил еще.

— Что ж это, однако, за музыка? — спросила вдруг дочь, кинув быстрый взгляд на отца.

«А, поняла, видно!» — подумал Матвей Ильич и проговорил, прищуриив правый глаз:

— А сказать?

— Твое дело, папаша... как знаешь... — ответила дочь, ни с того ни с сего начавшая прикусывать нижнюю, малиновую, как вишня, губку.

— А ведь я припомнил, — начал с заметной плутоватостью Матвей Ильич, любуясь дочерью, — с кем вчера встретился.

— С кем же? — чуть слышно спросила Надя, видя, что отец явно желает, чтобы она

спросила его о том.

— Я встретился с Михаилом Николаевичем... Верещагиным...

— Ну и что ж? — еле заметно вспыхнув, произнесла девушка.

— Да как бы тебе сказать: он сегодня обещался у нас быть, Надя...

Девушка ничего не ответила. Она встала и подошла к окну. Пользуясь случаем, Матвей Ильич, искоса поглядывая на дочь, которая стояла к нему спиной, пропустил две лишние чарочки пеннику и брякнул:

— Экой пенник, черт бы его побрал! Загубил он меня!

Несмотря на то, что слова эти были произнесены Матвеем Ильичом с явной целью, чтобы дочь обернулась к нему, но она не обернулась. Она стояла, несколько наклонив голову вперед, и, видимо, о чем-то задумалась.

— Эх, молодость! — нравоучительно заключил Матвей Ильич и хватил еще чарочку.

IV

К полудню автор «Милорда» писал уже ногами по всем комнатам прихотливейшие вен-

зеля и порывался уйти.

Дочь не пускала его.

Уверенный, наконец, в том, что порывы его к уходу тщетны, он начал уверять дочь, что Нерон не только пьяница, но и преотменная свинья.

Дочь молча слушала отца, занятая своими мыслями.

Анна Степановна хлопотала по хозяйству.

Обыкновенно дочь помогала ей. Но теперь она боялась покинуть хмельного отца.

Матвею Ильичу не сиделось.

Невзирая на то, что ноги его совершенно путались и, как сказано выше, выписывали вензеля, он все-таки шатался из угла в угол.

Дочь зорко следила за ним.

— Свинья! Я тебе говорю, что свинья! — размахивал Матвей Ильич руками, видимо довольный своим открытием. — Ну как же он не свинья, сама посуди! — обращался он к дочери. — Во-первых, трусишка, во-вторых, обжора, в-третьих, распротоканалья!

— Папаша, — возразила дочь, — да какое тебе дело до Нерона? Человека нет, ну и говорить о нем нечего.

— Ты предполагаешь?

— И предполагать нечего.

— Ну, так я тебе доложу, Надя, что я вовсе не ругаюсь, а отдаю ему должную дань. При жизни он брал ее, пусть же берет и по смерти. Он был жаден до славы: я прославляю его. А разве это нечестно с моей стороны! Честно, я вполне уверен. Пусть слава тяготит его и за гробом. Это урок всем славолюбцам и тиранам. Бедный человек в бедной хижине более чем через полторы тысячи лет смело карает его, как тирана, и бежит эта кара из уст в уста, бежит и странным эхом звучит в ушах только что возникающих тиранов. О, это страшное и беспощадное эхо! Одно только оно и висит, как дамоклов меч, над головами людей, которые, будучи сами скотами, и смотрят на людей, как на скотов! Вот недалеко ходить, Наполеон...

Матвей Ильич был человек увлекающийся, особенно же когда находился под влиянием выпивки или когда дело заходило об истории.

Заговорив о Наполеоне, он понес такую своеобразную ахицею, что дочь не вытерпела

и остановила его:

— Папаша, да полно тебе вздор-то горючить!

Матвей Ильич сначала как бы обиделся на замечание дочери, но потом согласился с нею и ударился в другую крайность — примолк.

Кстати, в это время пришел Верещагин.

Молодой человек был одет особенно щеголевато.

Поздоровавшись с Матвеем Ильичом и его дочерью, он весьма развязно начал рассказывать о новостях, вычитанных им из иностранных «ведомостей».

Надя с особенным участием слушала его и как-то странно, по временам, вскидывала на него глаза.

Молодой человек, видимо, рисовался перед девушкой.

Матвей Ильич начал вздремывать и вскоре ушел.

— Давненько у нас не были, — заметила девушка Верещагину.

— Все дела, знаете, Надежда Матвеевна.

— Полноте, какие там дела!

— Право, дела. Шесть полпивных, четыре

герберга — не шутка. Каждый день надобно все объездить. Что же это Матвей Ильич ушел?

— Пусть отдохнет.

Верещагин незаметно встал и начал рассматривать на стенах картинки.

Как любитель мифологии Матвей Ильич все стены своей квартиры увешал лубочными картинками из «Начертания мифологии» господина аббата Лионне. Из ста восьмидесяти картин, вошедших в состав книги почтенного аббата, ни одна не была упущена из виду. Все они нашли достойное место и украсились рамочками. Кроме этого, Матвей Ильич под каждой картинкой собственноручно сделал довольно пространные надписи. Под картинкой о «Нимфах и Ариаднах» он, например, написал: «Кто такие были нимфы, о коих столь часто стихотворцы упоминают?» Следовал ответ. «Вообще язычники оных почитали за богинь гор и лесов, рек и источников, почему их разными именами называли. Кои жили на земле, те назывались нимфами; стерегущие реки и источники именовались наядами». В таком роде пояснения следовали до

конца.

В минуты грусти Матвей Ильич, в назидание жене и дочери, любил почитывать эти надписи. Были у Матвея Ильича и другие картины в этом же роде.

На одну из них Верещагин особенно загляделся.

Это было изображение «Душеньки» из повести Богдановича. «Царская дочь, препровождая время в уборах и обновах, ходила в сад и там скуку свою прогоняла».

Художник позабыл скромность и написал Амура, крепко обнимающего Душеньку. Душенька не сопротивляется, напротив, она, лежащая в самой предательской позе, намерена отравить его ядом своих девических, невыразимо очаровательных ласк.

— Должно быть, картина нравится вам? — спросила девушка, смотря сбоку на Верещагина.

Верещагин несколько сконфузился и отошел от картины.

— Нет... я так... — проговорил он.

Девушка твердо и пристально посмотрела на него.

Дочь Комарова, Надя, давно обратила внимание на молодого Верещагина. Верещагин нравился ей. В свою очередь, и молодой человек не мог не заметить довольно рельефной красоты молодой девушки, но только с этой стороны он и интересовался девушкой, и в то время, когда дочь автора начинала уже понемногу привыкать к молодому человеку, он, напротив, как бы даже старался избегать встречи с ней. В сущности, Верещагин, невзирая на то, что Надежда Матвеевна нравилась ему как хорошенькая девушка, с которой ему было бы весьма приятно сойтись покороче, — он побаивался ее. Какой-то сухостью и холодком веяло от красивой девушки. Верещагин, напротив, был человек с «огоньком». Начитавшись рыцарских романов и сентиментальных повестей прошлого столетия, ему хотелось найти в Надежде Матвеевне какую-либо героиню или, по крайней мере, девушку с дикими, необузданными страстями. Словом, ему хотелось сойтись с нею романтическим образом, а не как-нибудь просто, обыденно, как сходятся тысячи людей. Ему хотелось пре-

пятствий, страданий, слез. Дочь Комарова, под влиянием отца начитавшаяся классических произведений, совсем не подходила под идеал Верещагина. Не по летам серьезная и рассудительная, она смотрела на жизнь прямо. Вот причина, по которой она казалась несколько нравственно-суховатой. Верещагин не понял ее. Слишком еще молодой, слишком еще впечатлительный, он не умел еще «рассуждать» и «взвешивать». Он отдавался первому впечатлению. Можно же себе представить, насколько была хороша Надежда Матвеевна, что при всей ее отталкивающей холодности Верещагин «что-то» чувствовал к ней и, кроме того, побаивался.

Такую оригинальную красоту, которой обладала дочь автора «Милорда», редко можно было встретить. На первый взгляд она казалась простенькой, но вглядевшись пристально в ее тонкие и правильные черты лица, которым особенно хороший вид придавал нос с маленьким горбиком и нежно обрисованными ноздрями, на ее густые, почти соединявшиеся темные брови, виделось выражение энергия и силы. Большие, серые, пронизыва-

тельные глаза смотрели прямо и серьезно. Иногда только с холодной прелестью Надя опускала их вниз. Тогда она казалась еще серьезнее и неприступнее. Очертания небольших, пухловатых губ и склад лица были правильны и обрисовывались смело и назойливо, до возбуждения. Кожа имела какой-то особенный, нежно-пылающий, золотистый оттенок, чрезвычайно гармонировавший с каштановыми волосами, которые сверкали красной, искристостью, переливающейся в маленьких «кудряшках» около лба, висков и шеи. Волосы Надя зачесывала просто на затылке, что было вовсе не в правилах тогдашних молодых москвитянок. Как и теперь, и тогда тоже была всемогущая мода, проникавшая в самые низшие слои московского общества.

С 1800 по 1815 год мода, например, была на классические костюмы. Женщины, в домашнем быту, на балах и «куртагах» ходили чуть ли не классическими Андромахами и Медеями, в длинных юбках-рубахках, подвязывавшихся немного ниже груди. Рубахи эти держались на перевязи через плечи и соединя-

лись у груди запонкой. Бюст и руки были обнажены до последней возможности. Рубаха эта облежала тело и картинными складками ниспадала вниз. О грудах юбок и других «подплатейных» принадлежностях не имели еще понятия. Волосы зачесывались чисто по-классически — в один пучок на темени, вроде шапки.

Одевалась дочь автора, конечно, не по-классически, хотя нередко Матвей Ильич и предлагал ей последовать в этом отношении примеру умных людей. Матвей Ильич был большой любитель классических хитонов с сандалиями. Дочь не сходилась с ним в этих взглядах и предпочитала русский сарафан с нитью бус на шее и ленточкой в волосах.

Сконфуженный Верещагин сидел насупившись и уже был не рад своему приходу. Ему и хотелось и не хотелось оставаться наедине с молодой девушкой. Он чувствовал себя неловко. Ему хотелось бы видеть возле себя Матвея Ильича. С ним как-то было веселее и свободнее.

— Что вы сегодня такой бука? — спросила

после продолжительного молчания девушка особенно ласково, желая загладить то неловкое положение, в которое она поставила Верещагина вопросом о картине.

— Скучновато маленько.

— О, если так, — оживилась вдруг девушка, — то вам сейчас будет весело.

— Как так?

— Пойдемте вместе в сад!

— Зачем? Что там делать? — дулся молодой человек, сам не понимая на кого и за что.

— Что делать! — протянула, вскинув на него глаза, девушка и сейчас же быстро проговорила:

— А как вы думаете, что мы в саду будем делать?

Верещагин молчал и думал: «Ай, какой же я дурак! И с чего мне взбрело в голову отказываться?»

Девушка между тем впиалась глазами в лицо молодого человека. В этом взгляде было и нечто страстно-чарующее и нечто ядовитое, беспощадное, Верещагин не помнил еще такого взгляда молодой девушки. Она долго смотрела на него этим взглядом, скрестив на

груди руки и склонив голову немного в сторону, как бы стараясь заглянуть в лицо молодого человека снизу. Верецагин сидел, как на иголках и чувствовал, что он страшно вспыхнул. Сердце его начинало биться сильнее. Ноги вздрагивали.

«Что же это?» — думал он. А какое-то смутное чувство подсказывало Верецагину, что это делается девушкой неспроста, что тут есть что-то такое, чем он должен дорожить, ловить, как счастье. Девушка все стояла и смотрела на него, точно кто-нибудь заколдовал ее в этом положении.

Молодой человек начал трусить. А голова работала: «Вот новость, она никогда не была такой... всегда скромная, тихая... не больна ли?... может быть, и...» Верецагин готов был допустить, что она с ума сошла... Но более всего озадаченному юноше хотелось бежать. Однако он не знал, как это сделать. Взгляд юной красавицы как бы приковывал его к месту.

Она, наконец, заговорила как-то странно, глухо:

— Какой вы непонятливый стали, Михаил

Николаевич! С коих это пор? Не с тех ли, как перестали навещать нас?

— Я, Надежда Матвеевна, я... — начал заикаться Верещагин.

— Да что вы? — вдруг возвысила она тон своего голоса, и в этом тоне послышалось нечто решительное, нечто смелое и повелительное до жестокого деспотизма. — А вот что вы... — продолжала она в том же тоне, — если не пойдете охотой, то я вас стащу в сад... — голос девушки дрогнул... она тихо закончила «силой» и сразу не то взяла, не то схватила Верещагина за руку.

Верещагин вскочил, точно варом обданный. Такого оборота дел он не ожидал. Странный каприз девушки сильно поразил его и вместе с тем в нем закопошилось болезненное любопытство: чем все кончится и для чего все это? А между тем невыразимый страх перед чем-то все более одолевал его, как школьника перед учителем. Да он и был каким-то робким, запуганным школьником перед девушкой, которая крепко держала его за руку. Стоя перед ней, Верещагин чувствовал, что рука ее дрожала, дрожала сильно, судоро-

рожно. Вздрагивал и он, не то от непонятого страха, не то от непонятого любопытства... Девушка медлила что-то... что-то хотела сказать и не могла.

Верещагин стоял перед ней как вкопанный... Но назойливые мысли, круто сменялись одни другими, роились в уме его и сосредоточивались на личности молодой девушки. Верещагин смотрел на Надежду Матвеевну, поддавался ее девическому обаянию, и в груди его уже закипало то нехорошее, гаденькое чувство, которое нередко в подобных обстоятельствах делает из человека зверя, как молодая девушка, опомнившись, точно нехотя, опустила его руку и прошептала:

— Михаил Николаевич... простите меня... простите... Я больна...

Сказав это, Надежда Матвеевна тихо опустилась на стул и закрыла свое лицо руками.

Она так сидела минуты две, спокойная, кроткая. Верещагин по-прежнему поглядывал на нее лукаво и решительно не знал, что ответить ей на сказанное или как утешить ее. Он понял, что девушка любит его, а только что совершившийся случай доказал ему, что

она может любить страстно, бешено и любовь ее может превратиться в романтическое страдание. Самолюбие молодого человека было польщено: он этого добивался, и это был единственный случай, что Надежда Матвеевна выдала себя. До сего времени она держала себя перед ним просто, но так сдержанно, что он невольно благоговел перед нею; этот же случай доказал ему, что Надежда Матвеевна женщина, и ему жаль стало, что он не воспользовался случаем. «Дурак я, — думал он, — больше ничего. Когда еще такой случай представится, Бог весть, а тут дело было бы слажено. Живи, как сыр в масле катайся» Это подленькое чувство еще больше растравляло молодого человека, когда взор его падал на хорошенькую, полуобнаженную шейку красивой девушки или на округленность ее членов.

А в голове красавицы бродили совершенно иного свойства мысли. Надежда Матвеевна не могла простить себе и даже ничем оправдать своего глупого поступка. «Что со мной случилось! — размышляла она. — И в самом деле, не больна ли я. И неужто я так люблю его и так жажду остаться с ним наедине, что ре-

шилась явно высказать ему свою привязанность, и даже не привязанность, а какую-то наглуемую чувственность. Бедная, бедная я девушка!» — восклицала она мысленно, чувствуя, что сила воли покинула ее. Она стыдилась себя, она проклинала себя. Гордость ее пошатнулась. Тем более поступок был прискорбен для Надежды Матвеевны, что Верещагин, как ей казалось, не понял ее. «Нет, нет! — раздумывая, решала она, — я забуду его, покину, и покину навсегда... На что мне он?.. Мы не поймем друг друга... Да, по правде сказать, из-за чего я начала всю эту глупую кутерьму? Так, должно быть, сдуру, а дуре — дурацкая и честь... Впрочем, Михаил Николаевич малый хороший... простой... может быть, он даже к не понял моей выходки... может быть...» Короче сказать, разные «впрочем» и «может быть» таким быстрым роем начали кружиться в хорошенькой головке Надежды Матвеевны, что, в конце концов, она «все» простила молодому человеку и даже готова была просить у него прощения. Гибкая, растяжимая женская натура сказала в ней вполне. Как бы ни была велика у

женщины сила воли, какой бы она ни обладала холодностью и неприступностью, насколько бы она ни была надменна, горда, величава, но если дело коснется ее сердца, — она делается слабой, как ребенок, мало того — в самом глупейшем существе она может находить самые величайшие достоинства. Это общая слабость женщин.

Конечно, Надежда Матвеевна вовсе не принадлежала к особенно даровитым натурам. Она была скорее взбалмошная девушка, но взбалмошность эта носила у нее какой-то свой особенный характер, характер, имевший много оригинальности с оттенком нравственной силы и энергии. Она полюбила Верещагина, но сама не знала, как полюбила, почему и какие она в нем нашла достоинства. С характером Верещагина мы несколько уже познакомились. Невзирая на то, что он по нравственной силе далеко стоял ниже молодой девушки, молодая девушка все-таки чувствовала себя слабее его. Она в глубине души своей подчинялась ему, хотя и не хотела в том сознаться. Верещагин не замечал этого. Он действовал так себе, спроста. Все его желание бы-

ло только порисоваться перед девушкой своим костюмом, своей ухваткой, своим знанием иностранных языков. Нравственного же влияния над девушкой, которая ему нравилась, как красивая особа, он вовсе не добивался. Влияние это как-то само собой вдруг далось ему. Но и тут он не замечал его. В его глазах только и вертелась «Душенька», обнимающая Амура. Ему хотелось быть Амуром, а Надежда Матвеевна, по его мнению, да и по истине, могла быть преинтересной «Душенькой»...

Преинтересная «Душенька» вскоре оправилась. Страстности как не бывало. Михаил Николаевич опять увидел перед собой холодноватую Надежду Матвеевну.

Верещагин уже ругал себя за оплошность. Надежда Матвеевна радовалась, что выходка ее окончилась ничем. Тем не менее ей взгрустнулось. Она почувствовала необъяснимое одиночество. А молодой человек стоял перед ней и напоминал, что есть жизнь, есть счастье...

«В нем ли оно?» — мелькнуло в головке Нади при взгляде на довольно красивого кушеческого сынка...

«А она славная!» — держался между тем своей прежней мысли Верещагин...

Август месяц одиннадцатого года, особенно же в последние дни его, был замечательно хорош в Москве. После зимних вьюг, снежных, холодных вьюг, заносивших улицы города так, что от дома к дому приходилось прокладывать узенькие тропинки, а по улицам была самая невозможная езда. После весенних бурь и ураганов, разносивших заборы, срывавших крыши с домов, ломавших деревья в садах и рощах, что подавало москвичам повод предвидеть нечто недоброе, грозное, какую-то кару небес, наступило дождливое и сырое лето, сменившееся теплым августом. Москвичи вздохнули, надеясь наверстать потерянное лето хоть августовскими днями.

И в самом деле, никогда в Москве в начале прошлого столетия не было, столько гуляний, вечеров, балов, маскарадов и других увеселений, как во второй половине одиннадцатого и первой половине двенадцатого годов.

Смутные слухи о Наполеоне уже ходили в народе.

Народ предчувствовал беду. Русские дипломаты и политики того времени были убеждены в неизбежности войны с Наполеоном. Однако надеялись на что-то и ждали, что скажет Наполеон. Наконец, третьего августа одиннадцатого года Наполеон изрек свое слово. В тюльерийском дворце своем, среди своего дипломатического корпуса он сделал русскому посланнику князю Куракину дерзкий выговор, будто бы за неприязнь к нему России. После этого не было уже никакого сомнения, что близок час окончательного разрыва. Позднее время года, видимо, мешало Наполеону начать свой поход немедленно. Он отложил его до более удобного времени, но время это было уже близко. Со стороны Наполеона и со стороны России начались грозные приготовления, пересыпаемые ни к чему не ведущими переговорами. Война была, как говорится, на носу. Но москвичи точно и слышать не хотели про войну, а то, что неприятель мог посягнуть на Москву, никому и в голову не приходило. Веселья сменялись весельями, и отдаленный гул военных громов все не пугал их. Была ли это надежда на соб-

ственные силы или обыкновенная в русском человеке беспечность — трудно объяснить. Скорее последнее.

Все москвичи пользовались теплым августом. Зелень еще была хороша. В то время не было еще бульваров. Существовал один только Тверской, да и тот усажен был одними небольшими березками. Народные гулянья и прогулки устраивались в двух садах: Нескучном и Дворцовом. Большинство же москвичей предпочитало свои сады. Садов в то время в Москве было бесчисленное множество. Редко можно было встретить дом без сада. В своих садах москвичи покучивали и устраивали домашние увеселения с музыкой.

Как уже сказано, был садик и при флигельке Матвея Ильича. Садик чистенький, хорошенький. Матвей Ильич сам лично ухаживал за ним: разводил цветы, сажал малину, клубнику. Дочь Надя помогала ему. Она тоже была большая любительница зелени. В садике своем Матвей Ильич устроил даже беседку, в каком-то греческом вкусе, мало того, знакомый художник расписал ему масляными красками

ми стену беседки, чем придал ей несколько роскошный вид. Сюжеты картин, пожеланию Матвея Ильича, были преимущественно взяты из мифологии.

Неудивительно после этого, что Матвей Ильич, дитя своего века, отдавал дань своему времени, набивая свои произведения сладострастными сценами, а свой дом — такого же рода картинами... Анна Степановна смотрела на эти прихоти мужа, как на необходимое зло, а дочь — дочь как-то не обращала на это внимания и даже как бы сочувствовала отцу в его непозволительной слабости. Она даже, как он, любила мифологическую беседку в саду. Матвей Ильич нередко летом, особенно в жару, пописывал там свои повестушки, вдохновляемый безмолвно взирающими на него нимфами и наядами, а дочь почитывала там любимые романы. Одна только Анна Степановна отплевывалась, когда заходила речь о таинственной беседке. Она даже боялась подходить к ней.

Знакомые Матвея Ильича, из мужчин, не пренебрегали его классической диковинкой, и нередко, во главе самого хозяина, устраива-

ли там дружеские попойки... Вообще, беседа Матвея Ильича имела немало поклонников... Матвей Ильич гордился своей выдумкой и всякому, с кем знакомился, первым делом показывал беседку — свое сокровище.

Особенным почитателем сокровища Матвея Ильича был наш старый знакомый, Гавриил Яковлевич Яковлев. Нередко он приезжал к Комарову просто для того, чтобы побывать в беседке.

Для того ли, чтобы побывать в беседке Матвея Ильича, или для чего-либо другого, но Яковлев приехал к Комарову и в тот день, когда у него был Верецагин.

Начинало вечереть.

По своему обыкновению и как старый знакомый, Яковлев смело вошел в комнаты Матвея Ильича. Матвей Ильич все еще продолжал спать. Яковлева встретила Анна Степановна.

— Дома? — спросил Яковлев.

— Кто, мой бесшабашный-то?

— Ну, разумеется.

— Спит, батюшка. Без задних ног лежит.

— А Надежда Матвеевна?

— А Надя... У, право, не знаю, где Надя...
Должно, ушла куда...

— А!.. Ну, пусть их... Я подожду...

— Да вы растолкайте его, бабушка... Диво
ли, до сих пор не обедали...

— Ладно, ладно, растолкаю...

Анна Степановна ушла. Яковлев прошелся раз-другой по комнате и хотел разбудить Комарова. Он подошел к дивану, на котором спал автор, и тронул его за плечо. Комаров спал как убитый.

«Ну пусть его спит, — решил Яковлев. — Выспится — бодрей будет. А мне надо, чтобы он непременно был бодр и предприимчив. Дело-то важное. Необходимо для главнокомандующего составить доклад о московских агентах Бонапарта. Слог у Матвея отменный. Красноречив, каналья...»

Чтобы как-нибудь убить время, Яковлев направился в садик. Садик был небольшой, поэтому Яковлев вскоре очутился у почитаемой им беседки. Но едва он сделал к ней несколько шагов, как моментально остановился и наострил уши.

Опытное ухо сыщика услышало что-то.

— Э, — прошептал он, помолчав, — дело-то какое! Пошел по грибы, а поймал зайцев. Ну, ну, послушаем, чем все это кончится. Во всяком случае, любопытно.

Яковлев шагнул к беседке, но так тихо, так незаметно, что казалось, это шагнула какая-то таинственная тень, а не живой человек. Далее — более, и через минуту сыщик стоял уже у беседки, прильнув ухом к ее тонкой дощатой стене... В беседке кто-то был... Оттуда слышался явственный шепот двух голосов.

— Двое, — прошептал, саркастически улыбаясь, Яковлев. — Голубки, — стало быть, невинности непроходимая. Один-то голосок знаком: Надежда Матвеевна воркует, а другой — уж черт его знает чей. Во всяком случае, мужчина, а не женщина. Любопытно, любопытно... Такие неожиданности не часто встречаются, особенно же в такое время года. Весной — ну, куда ни шло! Весной всякая скотина по милом дружке тоскует, а осенью... Это вещь редкая! Любопытно, право, любопытно! Ну, пусть их, пусть... Узнаю, по крайней мере, как осенью поют... Чу, запели!

Яковлев еще ближе прильнул ухом к беседке. Он превратился в слух. Таким образом он простоял минут двадцать, и надо было видеть, как изменялась его некрасивая физиономия!

Гавриил Яковлевич принадлежал к тому роду деятелей, которые ничего не упускают из виду и нередко из самого незначительного случая, не имеющего, по-видимому, ничего общего с ними, извлекают пользу. Яковлев пользовался всякого рода случаями в полной мере. Он ничего не упускал из виду, особенно же того, что хоть несколько выходило из ряда будничных отношений. Зоркий глаз его и чуткое ухо редко ошибались в этом отношении. Он как-то всегда во всем умел находить то зерно, которое давало ему известный плод и приводило к известному результату. С уст сыщика при всяком удобном случае срывалась общая фраза старых служаек, преимущественно того времени: «у меня всякая вина виновата». На этой чиновничьей истине Яковлев основывал свои розыски, прославившие его имя далеко за пределами Москвы — сферы его деятельности. К ней же он применял и

те нечаянности, на которые он почему-либо обращал свое хищническое внимание.

Хищнически Яковлев обратил внимание и на «нечаянность» в садике Матвея Ильича Комарова. Сыщик сам еще не знал, к чему он тут может примениться и что, собственно, извлечет, но голова его уже работала: взвешивала, сравнивала, применяла, искала «чего-то», ибо это «что-то», как ему казалось, непременно должно было находиться в чуждых ему, однако же, отношениях «двух голубок». Чутье сыщика указывало ему «нечто такое», где будет пир, где будет добыча. А добычу сыщик любил, как ворон любит падаль.

«Однако ж скоро ли они окончат свое невинное времяпрепровождение?» — задал, наконец, вопрос сыщик и вдруг, точно кем-нибудь толкнутый в спину, отпрянул от беседки.

«Наконец-то», — прошептал он на ходу в другую часть садика.

Из беседки тихо, как бы крадучись, вышел Верещагин.

— А уже вечереет... — проговорил он, неопределенно взглядывая по сторонам... —

Ишь, мы как засиделись!..

И он улыбнулся лениво, как бы нехотя.

Через минуту вышла из беседки и Надежда Матвеевна.

— Иди, — проговорила она торопливо. Верещагин скрылся за густым кустом бузины. Девушка не трогалась с места.

Точно околдовал ее кто-то. С той самой минуты, как отец сообщил ей, что к ним придет Верещагин, она как бы переродилась или как будто туман какой-то упал перед ее глазами. Было ли это причиной того, что любимый ею Верещагин не приходил давно, или уж она в тот день была так странно настроена, но только все это завершилось тем, что она сделалась слаба, и слаба перед тем, кого она до сих пор считала «ребенком». Теперь «ребенок» этот вдруг вырос в ее глазах, возвысился. Она даже почувствовала к нему невольный страх, страх еле заметный, но тем не менее ставящий ее в подчиненное положение. Девушка чувствовала также, что уже не может более рисоваться перед ним, как рисовалась прежде, что она уже — «его», его вполне... Горько ей стало, больно... Слезы навертыва-

лись на глазах... И в бессильном негодовании девушка прошептала:

— Подлец он, подлец!..

А подлец, между тем довольный и счастливый одному ему известным успехом, вышел на дорожку садика и, чтобы собраться с мыслями от нахлынувших впечатлений, присел на скамеечку.

«Вот так оказия! — вертелось в голове его, отуманенной «счастьем». — И не ожидал!.. Такая гордая, неприступная, точно королева бранденбургская. Это что-то на роман похоже... Я так люблю... это хорошо... Ну, теперь, значит, гуляй во всю ивановскую, на все четыре стороны!.. А то, что моя за жизнь была до сих пор! Так, что-то такое нескладное, некрасивое... из лавки в герберг, из герберга в лавку, ну, там прочтешь что-нибудь, вот и все, вот и вся моя жизнь... А теперь не то пойдет... теперь и мы можем «закурить» по-своему... благо, случай подвернулся... А случай хороший... такого случая не скоро достучаешься... Живи, как сыр в масле катайся... А уж и девушка же! Ах, черт, какая девушка! Одно нехорошо: стыдно перед Матвеем Ильичом...

Он меня точно сына родного, еще лучше сына принимает! Нехорошо так... Впрочем, что ж я! Чем же я тут виноват! Вина тут вовсе не моя — все Надежда Матвеевна. Пусть она там как хочет, так и вывертывается — мое дело сторона. Так, если придется, намекну Матвею Ильичу. Может быть, и сойдет с рук... А не сойдет — я и на боковую, а то и от женитьбы не прочь... Мне ведь все равно... а она девушка не урод, хоть куда... Только вот отец не позволит... Он уже давно наметил мне невесту, купеческую дочку какую-то... Разве убежать и тайно где-нибудь обвенчаться, как в романах... А это преинтересно было бы... Ночь, метель, всю церковь занесло снегом... А лес густой-прегустой... Сосны высокие, толстые, в несколько обхватов... стоят точно заколдованные, и все в снегу... снег пушистый такой, висит клочьями... Темно... А мы скачем на тройке... Тройка борзая, лихая... «Эх, вы, родители!» — кричит ямщик... А я сажу с Надей, держу ее, целую... Дрожит она... «Что с тобой, милая?» — «Волки, Миша, голубчик... разве не слышишь?» — «Как не слышать! Слышу, милая! Пошел, ямщик!» И тройка рванулась еще

быстрее, а волки завыли еще пуще... Страшно, а хорошо... Летим, летим... но вот и церковь... огонек виднеется. В церкви ждет нас Матвей Ильич, Анна Степановна, священник... Быстро обвенчают нас; и мы опять в Москву... Опять лес, опять снег... В Москву — к отцу... «Батюшка, благослови! Благослови, матушка! С повинной к вам! Не по вашему велению сошлись-повенчались, простите-поми-луйте!» Ну, уж тут-то и плохо... Что не простит отец — это верно. Скорее убьет, а не простит. Я его натуру хорошо знаю. Узнай он даже и про то, что я сошелся с девицей — беда, поедом съест, запрет куда-нибудь, сошлет... Надо держать ухо остро...»

Рассуждая таким образом, Верещагин вдруг почувствовал на своем плече чью-то руку.

Обернувшись, он увидел перед собой совершенно незнакомое лицо.

Это был Яковлев, давно уже следивший за молодым человеком.

— Здравствуйте, юноша! — приветствовал он молодого человека покровительственным тоном.

— Мое почтение-с! — привстал замечтавшийся Верещагин, с изумлением взглянув на Яковлева.

— Что смотрите? Не узнали? — начал Яковлев с обычной своей фамильярностью. — И не узнаете, хотя и хорошо знаете.

— Извините... виноват... — оправился несколько Верещагин, умевший, где понадобится, быть весьма приличным молодым человеком.

— В чем «извините»? Не в том ли, что вы не знаете, как меня назвать? Коли в том, так я сейчас скажу, кто я...

— Мне было бы весьма приятно, — заговорил Верещагин, все еще находившийся под приятным впечатлением «успеха».

— А коли приятно, извольте. Я — следственный пристав Гавриил Яковлевич Яковлев.

Верещагин смутился.

— Что, знаете?

— Да, признаюсь... извините...

— Опять «извините»! Знать, вы, молодой, человек, из числа образованных, что у вас «извините» с языка не сходит.

— Да... немножко...

— Где учились?

— В Коммерческом пансионе.

— У Арнольда?

— У него-с.

— Так... так... знаю... Пансион хороший... И давно вышли?

— В прошлом году, — ответил Верещагин и подумал: «Что он меня допрашивает? Уж не замешан ли я в какое-либо дело... вот еще будет одолжение!»

Яковлев заметил его смущение.

— Да вы не беспокойтесь, молодой человек, — проговорил он. — Я ведь так спрашиваю, без всякой цели, просто из одного любопытства... Вы, вероятно, бываете у Матвея Ильича, знакомы ему?..

— Мы с ним давнишние приятели.

— Странно, как я вас не видал до сих пор.

— Может быть, и видели, да забыли.

— Кто, позвольте спросить?

— Верещагин, Михаил Николаев.

— Верещагин? — протянул Яковлев. — Это ваш отец содержит герберги и пивные лавки?..

- Да, мы с отцом торгуем...
- Ваш дом у Симеона Столпника?
- Мы давно там живем.
- Знаю, знаю... А вашего отца даже хорошо знаю... Отличный человек, только немножко с душком... Впрочем, это в сторону... Скажите прежде всего: вы французский язык знаете?
- Учился: читаю, пишу...
- Так... А немецкий?
- Маракую понемножку.
- Так... Стало быть, зная тот и другой, вы и заграничные «ведомости» читать можете?
- Отчего же? Даже люблю почитывать их...
- Прекрасно... Вам сколько лет?
- Двадцать первый.
- Гм! Молодо-зелено, говорят. Но иногда зеленое-то и лучше, чем красное или сизое. Пьете?
- Понемножку.
- Пиво? Пенник?
- То и другое.
- Раненько...
- Что делать! Такое уж занятие — понево-

ле выпьешь... Пенник кому не на руку! Больше выпьешь — больше наговоришь.

— Э, да вы балагур! — воскликнул Яковлев, хлопая Верещагина по плечу. — Право, балагур. Признаюсь, вы мне нравитесь не на шутку...

— Радуюсь душевно, — произнес подзадо- ренный похвалами молодой человек... — Да у вас и красноречие есть... Прекрасно... А дайте-ка вот последний ответ... Самый последний...

Сказав это, Яковлев плутовато прищурил глаза и добавил:

— А ну-ка?

— Какой такой ответ? — спросил развязно Верещагин.

— Покучиваете.

— Ну, уж это мое дело... извините...

— Ваше?

— Мое-с!

— Ого! Да вы с душком... в отца... Яблоко от яблони недалеко падает...

— Может быть...

— Впрочем, молодость, неопытность... Однако ж опять-таки не в том дело, что вы моло-

ды и неопытны. Еще один вопрос: а как вам нравится Надежда Матвеевна?

Молодой человек сразу осел. Смутная догадка подсказала ему, что Яковлев был свидетелем их тайного свидания. Неведомая робость начала одолевать его. В полные глаза смотрел он на Яковлева, который, по-своему, очень добродушно озирает его с ног до головы и подсмеивался.

— Что, примолкли? Струсили? Недаром сложилась пословица на Руси: «блудлив, что кошка, труслив, что заяц...» Ну, вот что, молодой человек, — переменял вдруг Яковлев шуточный тон речи на серьезный, — вот что, молодой человек, мы с вами на одной дорожке сошлись. Нам надобно во что бы то ни стало разойтись или иначе нам тесно будет и мы друг друга толчками заморим. Дело вот в чем: как и вы, я тоже к Надежде Матвеевне равнодушен. Разница между нами только в том: вы «так себе» с ней, а я хочу вступить с ней в законный брак. Я даже на это получил согласие, только с другой стороны. Ваше счастье. Молодость и красота на вашей стороне. Зато на моей стороне право потребовать от

вас удовлетворения... Молодой человек, я вас вызываю на поединок!.. Так как я не люблю откладывать дела в долгий ящик, то мы сейчас же с вами и приступим к расправе. Я человек запасливый, и оружие всегда при мне... Вот вам пистолет... у меня есть другой... Мы с вами стреляем в двух шагах...

С этими словами Яковлев протянул Верещагину крупный пистолет, который он вынул из кармана, но Верещагин стоял перед ним, как к смерти приговоренный, и не протягивал руки за оружием.

— Что же, берите! — проговорил сыщик и взвел курок пистолета...

V

Увидав направленное прямо в грудь дуло пистолета, Верещагин решительно перетрусил и осовел. На его месте, пожалуй, и другой человек, и более поживший на свете, едва ли бы выдержал перед такого рода выходкой опытного сыщика. Торчащее перед грудью дуло огнестрельного оружия — шутка вообще плохая. Яковлев очень часто пускал в ход эту шутку, постоянно, на всякий случай, имея при себе заряженный пистолет, и шутка эта

всегда сходила ему с рук, нередко давая блестящие результаты в деле известных розысков.

Верещагину и в голову не приходило, что с ним шутят.

В голове его вертелась какая-то чепуха, обычная у всякого в минуту неожиданного испуга, из которой только и выделялась одна мысль: «Ну, пришел мой конец! Пришел! Вот сейчас выстрелит — и все кончено! Вот раздастся... вот сейчас...»

Выстрела, однако ж, не раздавалось, хотя дуло и не переставало торчать перед его носом.

Яковлев, очевидно, наслаждался испугом юноши и, заметив, наконец, что шутка его зашла слишком далеко, опустил пистолет, взяв его в левую руку.

— Ну, так уж и быть, молодой человек, — сказал он, — я вам прощаю на первый раз... Бог с вами... Я вообще человек добрый и вовсе не делаю никому зла без особенной на то причины...

На сердце у Верещагина отлегло. Казавшаяся ему перед тем до бесконечности отврати-

тельной физиономия сыщика вдруг в его глазах несколько возвысилась: он нашел в ней доброту и даже красоту некоторую, дышащую к нему особенным участием.

Яковлев между тем измерял молодого человека своим привычным многозначительным взглядом, задавая быстрые вопросы: на что, собственно, может пригодиться ему сей юноша, так как он вполне уже принадлежал ему. Дела особенного, для которого годился бы молодой человек, у него под руками пока не было, а упустить юношу из рук ему не хотелось. Человек грамотный, знает французский и немецкий языки, молод — как упустить такую находку? И сыщик решил, что он на что-нибудь ему да пригодится, а теперь еще более надобно приудержать его, то, есть, проще сказать, забрать в руки.

Видя, что молодой человек далеко не из храброго десятка, Яковлев еще приналег на эту «оказию». В привычке сыщика было всякого рода житейские стремления, вопросы и т. п. проявления разумной воли называть «оказиями».

— Добрый-то я добрый — это правда, —

сказал он, — и без особенной причины зла не делаю, в этом деле, уж извините меня, молодой человек, за откровенность, я готов покривить немножко душой... А впрочем... скажите: вам не хочется расстаться с Надеждой Матвеевной?

— И очень-таки, — отвечал молодой человек.

— Вишь! Да и то: она девушка молодая, красивая... вы тоже — ровесник ей... человек молодой... Но, откровенно говоря, зачем же я-то в дураках остаюсь! Ведь я тоже мужчина, как бы там ни было... мужчина как есть, вполне... и тоже бы не прочь приголубить хорошенькую головку Надежды Матвеевны... Что на это скажете?

— Уж, право, и не знаю, что сказать...

— А скажите вот что, я вас научу. Скажите: Гавриил Яковлевич, уступите мне Надежду Матвеевну! Вы человек пожилой — пожили, я еще молод — пожить хочется... уступите, а уж я вам заслужу... Вот и конец делу будет.

— О, коли только за этим дело, — обрадовался, как находке, Верещагин, — то я весь к вашим услугам!

— Вот и распрекрасное дело. Но не забывайте при этом, что я шутить не люблю. Уже если что попрошу сделать, так вы делайте, а не зевайте и не отлынивайте. Поняли меня?

— Понять-то понял, — замялся Верещагин, смущенный внушением сыщика, — но бывают такие дела, на которые и рука не подымается...

— Вам таких дел вершить не придется, не беспокойтесь. Вы для этого еще слишком молоды. Между нами говоря, вы мне понадобятся для переводов некоторых вещей с французского языка на русский...

— Это можно... Труд не велик...

— Ну, а потом, может, и еще что найдется подходящее...

— Я согласен.

— И надеюсь, все это останется между нами. И это главное, не забывайте.

— Буду помнить.

— Буду помнить и я вас, — прибавил дружески внушительным тоном сыщик. — От меня вы ничего не скроете и никогда не спрячетесь — знайте это и имейте в виду. Еще имейте в виду и то, что я умею платить за

неблагодарность, умею так платить, как другие не умеют. Думаю, однако ж, вы оправдаете мое доверие и мне с вами ссориться не придется...

Вместо слов Верецагин протянул Яковлеву руку.

Молодой человек был счастлив, что все кончилось так благополучно, и даже обрадовался, хотя с каким-то смутным недоверием, что услуга его понадобилась Яковлеву. Понаслышке знаменитый сыщик был ему известен. Не было в Москве торговца, который бы не знал Гаврилу Яковлевича. Кроме того, о Яковлеве и о делах его Верецагин много слышал и от Комарова, который как-то и хвалил и не хвалил сыщика, удивляясь, однако ж, его уму и необыкновенной смелости. Нескольких эпизодов из похождений сыщика, рассказанных Комаровым, было достаточно, чтобы молодой и восприимчивый Верецагин составил о нем «романтическое» понятие. И вдруг ему лицом к лицу пришлось столкнуться с этой знаменитостью, столкнуться так странно, и потом — эта знаменитость его же просит быть у него чем-то вроде помощника. Само-

любие молодого человека было польщено, хотя сознание чего-то не особенно хорошего и не покидало его.

В то время как Яковлев пожимал руку Верещагина, произнося: «Весьма рад, весьма рад, молодой человек, что вы так сговорчивы», в саду раздался голос Матвея Ильича.

Разговаривавшие и не заметили, что уже порядочно стемнело. Садик под влиянием сумерек как-то осунулся, еще более прирос к земле, каждый куст точно расширился и сделался еще гуще. На небе, безоблачном, но тусклом, показались молочного цвета звездочки. В воздухе чувствовалась освежающая сырость... Как-то реже доносился с улицы стук колес и людской говор... Становилось все тише и тише...

— Где вы? — кричал Комаров. — Гавриил Яковлевич! Михаил Николаевич!

Через минуту Яковлев и Комаров обнимались.

— Ах ты, забулдыжный мой! — радовался Комаров. — Право, забулдыжный! Приехал и запрягался... как будто не мог разбудить меня!

— О чем ты хлопочешь-то, — возразил Яковлев. — Полно! Я так славно время провел, как никогда... Вот мы все с молодым человеком болтали, и, право, он мне весьма понравился...

— Кто это? Миша-то? Да это не человек, а золото!.. Умен, велеречив... знает языки... А что касемо нравственности — просто красная девушка...

— Так, так... — подтверждал Яковлев... — Оно и видно... Я это сейчас заметил...

— Как же, братец ты мой! Без малого два года знаю! Славный молодой человек... просто — душа отменная, другой не отыщешь такой!.. Правду ли я говорю, Миша?

— Не знаю... как вы находите, Матвей Ильич... — пробормотал молодой человек, помолчав... И почувствовал себя очень и очень даже скверно...

— Вот он... видите какой... — болтал безостановочно Комаров... — весь налицо... Советую тебе, Ганя, любить его... Право, советую... не раскаешься...

— Что ж, посмотрим! — косился Яковлев на Верецагина, — пощупаем, может быть, и

СТОИТ...

— Право, стоит! — уверял Комаров, почувствовавший, под влиянием свежего воздуха, особенное рвение любви к ближнему. — Посмотри, ведь — молодец! Я, брат, его вот как люблю, Яковлев, — все равно как Надю! Надя и он — это мои первые голубчики в Москве! Право слово! Да у него и погреб славный. Как мы с ним вчера выпили — а-я-яй! Пришел, поверишь ли, Ганя, просто лыка не вяжу... Надя еле уложила...

— Ты сказал погребок, — перебил его серьезно Яковлев, — где этот погребок?

— Как, разве ты не знаешь верещагинского погребка? Да вот, тот самый...

— На Покровке, тут недалече, — вклеил свое слово Верещагин.

— А что? Не хочешь ли? — мигнул Комаров, которому, после утренней выпивки ужасно хотелось приткнуться к чарочке.

— Махнем-ка! Ведь рукой подать. У тебя кстати и лошадки.

— Пожалуй, я не прочь, — произнес Яковлев.

— Вот люблю за обычай! — обрадовался

Комаров. — Миша, едем, что ли?

— Отчего же-с, с большим удовольствием, — проговорил Верещагин, которому очень не хотелось встречаться, с Анной Степанов-ной и даже с Надей. Какая-то горечь обдала сердце молодого человека. Ему было скверно за девушку. Последний поцелуй еще горел на его щеках. И это ему было не по душе.

Прятели уехали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Гавриил Яковлевич Яковлев жил преимущественно на Первой Мещанской, у церкви Адриана и Наталии, в Адриановском переулке. У него были и другие квартиры, систематически раскиданные в разных частях города, где он тоже проживал по нескольку дней, но он предпочитал квартиру на Мещанской и жил там со всем своим штабом «ищеек» и притравленных на медведей мордашек.

Как необходимое лицо жил с ним и горбун-письмоводитель Тертый Захарыч Сироткин.

II

В тот день, когда сыщику понадобилось быть у Комарова, рано утром он призвал к себе Тертя Захарыча.

Тертый Захарыч успел уже где-то «перехватить» и поэтому довольно сильно пошатывался. Для Яковлева это было не новостью. С тех пор как Тертый Захарыч начал служить у сыщика, сыщик не помнил, чтобы горбун был когда-нибудь трезв. Невзирая на то, Тертый

Захарыч исполнял даваемые ему Яковлевым поручения аккуратно и для сыщика был человек вполне неограниченный. Были дела, в которых Третий Захарыч даже превосходил ловкостью самого Яковлева. Яковлев знал это, знал, что он без Сироткина будет как без рук, и поэтому держал себя с ним на самой дружеской ноге, позволяя только иногда подшутить над горбуном, по-приятельски.

— Что, уж готов! — встретил он своего помощника, сильно пьяненького.

— Готов-с, Гаврило Яковлич, — ответил тот, ища точку опоры.

— Раненько, брат...

— Раненько, Гаврило Яковлич.

— А ведь нехорошо.

— Нехорошо...

— И поэтому ты...

— И поэтому я... что такое, Гаврило Яковлич?

— Свинья, — брякнул Яковлев.

— Свинья... — подхватил Сироткин и сейчас же остановился, подняв пьяные глаза на сыщика... — Нет, зачем же-с!.. — скорчил он вдруг обидчивую гримасу... — Свинья сви-

ншей, а мы свое дело знаем.

— Ты уж и рассердился, — хлопнул его Яковлев по плечу.

— Куда нам! Наше дело маленькое, — скромничал Третий Захарыч, сиротливо склоняя свою голову.

— Ну, нечего сиротой-то казанской прикидываться! — произнес серьезно Яковлев. — Ты вот слушай, что тебе скажу, да слушай в оба, не пророни спяну-то словечка.

— Зачем же-с ронять! — приободрился Сироткин. — У нас всегда ушки на макушке... А что я маленько «приготовился», так это дело совсем другого рода и к настоящему делу не идет. Извольте говорить.

— Скажи мне, Третий, ли хочешь заработать десяток-другой карбованцев?

— Хочу-с, хочу-с, Гаврило Яковлич! — привскочил Сироткин. — Сами знаете: человек бедный... семья... сынишка, дочь... дочери приданое... жена больная...

— Ну, пошел, поехал! Сам знаю...

— Облагодетельствуйте, Гаврило Яковлич!.. Бедность... нужда...

Третий Захарыч заведомо врал. У него не

только не было нужды, но даже водились препорядочные деньжонки. Трудно было бы ему, участвующему во всех проделках Яковлева, находиться в бедности. Многие приношения, вольные и невольные, шли к Яковлеву прямо через его руки. Третий Захарыч не настолько был честен и бескорыстен, чтобы не замарать ими рук своих. Наконец, у него имелись и ему одному принадлежащие доходные статьи. Яковлев весьма хорошо знал это, но делал вид, как будто ничего не замечает и даже в глазах Третья Захарыча соболезнавал о его непокрытой якобы бедности. Знал и Третий Захарыч, что Яковлев не настолько прост, чтобы не видеть ничего, но плакался на свою бедность как-то по привычке, привившейся к нему в то еще время, когда он служил в надворном суде и действительно был беден...

— Ну, так вот, — говорил Яковлев, — ты и заработаешь их...

— А как-с?

— Слушай — узнаешь как.

— Слушаю, в оба уха слушаю, Гаврило Яковлич.

— Я сегодня буду у Комарова.

— Ну-с?

— Буду у Комарова для того, чтобы он, по данным мною материалам, составил мне доклад об агентах Наполеошки.

— Так-с.

— Ну, вот в этом-то и есть твоя пожива.

Третий Захарыч призадумался.

— Хоть убейте, Гаврило Яковлич, не понимаю.

— Плохой же ты после этого коршун.

— Виноват. Должно быть, спьяну маленько того... затмение нашло... Облагодетельствуйте, Гаврило Яковлич, объясните.

— Объясните! — дружески-укоризненно передразнил его Яковлев. — Объясните! А сам-то ты не додумаешься... Плохо же наше дело, Сироткин... Ежели мы с тобой таким образом будем недогадливы, то, пожалуй, нам, в конце концов, придется и зубы на полку положить.

— Ну, уж этому не быть, Гаврило Яковлич! — как бы обиделся Сироткин и за свою честь, и за честь своего начальника. — Позвольте подумать. Через полчаса и беспрерывно раскушу это дело.

— Стоит ли? Не надо! Я и так расскажу тебе, в чем суть.

— А все бы не мешало... Практика, знаете ли... ум бодрствует...

— Ладно... ладно... В другое время практикуйся... А теперь слушай.

— Слушаю-с.

— Федора Андреева, сиречь — Лубенецкого, знаешь?..

— Ну, вот еще! Как же-с!

— А как ты думаешь, приятно ему было бы иметь мой доклад об агентах?

— Доклад? — в раздумье спросил Третий Захарыч.

— Ну, да, доклад.

Третий Захарыч вдруг приосанился.

— Гаврило Яковлич, довольно!

— Что, понял?

— Понял-с!

— Ну, в чем дело?

— А вот в чем-с... — зачастил Третий Захарыч... — Взять этот доклад, отправиться к Лубенецкому, повертеть у него его под носом и «стяжать» столько, сколько «стяжать» можно. Или же отправиться к нему, сказать о докладе.

де и обещать доставить ему верную копию за такой-то «куртажик». Так, что ли, Гаврило Яковлич, я сказал? — заключил Третий Захарыч, сияя от удовольствия за свою находчивость и беглую сообразительность.

— Совершенно верно! — тоном похвалы произнес Яковлев. — Иначе и быть не может.

— Ну, вот видите!.. — обрадовался Сироткин. — Я, где надо, тоже того... Гаврило Яковлич... Право слово... А вы — «готов»! Мало ли что я «готов». Я всегда «готов», а свое дело тонко знаю...

— Одного, однако ж, не забывай, Третий...

— Чего-с?

— А того-с: где тонко, там и рвется...

— Дудки-с! Толстое-то и в ворота не лезет, а тоненькое — и в иглочное ушко войдет.

— Эва, да ты у меня и философ, Сироткин!

— Еще бы-с! Около вас живучи, всему научишься.

— Превосходно, превосходно. Ну, так вот, пройдишь, братец мой, с Лубенецким сначала по «куртажику». А потом, может быть, придется и «стяжать» что.

— Все равно-с. Был бы конь, а узда найдет-

ся.

— Только смотри, что получишь — пополам.

— Дело известное. Ни копейки не утаю, Гаврило Яковлич.

— То-то же! Смотри у меня!

Яковлев после этого уехал. У Третья Захарыча от радости даже хмель прошел, хоть снова прикладывайся к чарочке. Потирая от удовольствия руки ввиду совершенно безопасного «куртажика», он начал обдумывать, как приступить к делу, ибо Лубенецкий, по его мнению, был «птица обдерганная» и с ним ладить не так-то легко было. Наконец он приложился к чарочке, напялил на себя фрак бронзового цвета, сделал перед образом несколько поклонов, проговорив вслух «Господи, помоги!», и отправился на Ильинку.

Лубенецкого он застал дома.

Он, по обыкновению, находился в кофейне, по обыкновению, беседовал со своими посетителями по поводу последних политических событий. Он громко ругал Наполеона, который грубо обошелся с нашим послом в Париже, порицал его политическую систему,

но в конце концов как-то сводил к тому, сводил незаметно, логически, что Наполеон все-таки порядочная личность и под его правлением было бы народам не в пример лучше, чем, например, под управлением какого-нибудь султана. В то время в Москве в народе Наполеон не получил еще того гигантского, безобразного, почти демонического образа, который он получил через год, двинув свои полки через Неман, и потому особенно не казалось странным рассуждение Лубенецкого о порядочности Наполеона. Напротив, некоторые, очарованные победами и славой Наполеона, вступали даже в рьяный спор о том, что он не отдает должного уважения достойному имени Наполеона. Лубенецкий спорил и нешуточно прослыл за патриота. Галицкий еврей только этого и добивался. Только и нужно было ему войти в доверие. Доверие это ему далось; тем не менее, чувствуя себя под бдительным взором Яковлева, он держал себя осторожно. Лично Яковлева он вовсе не боялся. Сыщик был не страшен ему. Он даже втихомолку подсмеивался над ним, так же как и над Метивье, о промахах которого он успел

уже донести куда следует. Лубенецкого беспокоило новое обстоятельство: не прислан ли на место Метивье кто-либо другой, который следит за ним, пользуясь всезнанием Яковлева. И не потому беспокоило, чтобы он опасался за свою деятельность, нет — это обстоятельство беспокоило его потому, что он порешил уже покончить с агентурой и со всеми дрязгами, сопряженными с этой обязанностью, не желая, однако ж, до поры до времени обнаруживать этого, так как это, по правилам наполеоновского министра полиции Савари, вело за собой короткую расправу: всякий агент получал право убить виновного где попало и как попало, не пренебрегая при этом средствами. Как ни был умен и прозорлив Лубенецкий, но предупредить подобную расправу ему не представлялось возможности. А теперь-то именно ему и хотелось пожить. Панна Грудзинская все более и более делалась для него необходимой, все более и более очаровывала его. Видеть ее, говорить с нею сделалось для Лубенецкого более чем приятным. Словом, Лубенецкий попал в те силки, которые называются любовью. Грудзинская сразу

поняла это и — странно — переменяла о Лубенецком свое прежнее девическое мнение. Что на нее подействовало: воздух ли московский, новая ли обстановка, новые встречи, но только панна Грудзинская решительно охладела к Лубенецкому. По свойственной всем влюбленным простоте Лубенецкий не замечал этого, ему казалось, что хорошенькая панна по-прежнему предпочитает его. Он бывал у нее ежедневно. Панна любезно встречала его и так же любезно провожала. В разговоре общие интересы их по агентуре как-то отодвигались на задний план. Разговор вертелся все больше на каких-то пустых предметах, и тут-то проявлялась какая-то странная раздражительность у панны, явно намекавшая Лубенецкому, что он уже «неинтересен»; Лубенецкий принимал это за обыкновенный каприз и не переставал таять у ног красавицы, таять, впрочем, по-своему, с некоторой сдержанностью. Были, однако ж, минуты, когда сдержанность несколько изменяла Лубенецкому. Это случалось в то время, когда Грудзинская ни с того ни с сего вдруг спрашивала про Яковлева, приблизительно в таком роде:

— А где ж тот пан, что взял с нас злоты?

— Не с нас, а с этого дурака Метивье! — отвечал со злобой в сердце Лубенецкий. — С нас ему нечего взять!

— Ха-ха-ха! — прерывала его панна. — Как нечего взять... А злоты?.. Разве у нас нет злотов?..

При этом панна лукаво прищурила один глазок, лукаво до соблазнительности, и продолжала:

— А все-таки скажите, где тот пан, что взял с нас злоты?

— А черт его знает где! — сердился Лубенецкий, которому очень и очень даже не нравилось, что Грудзинская интересуется Яковлевым. — Глупая он рожа, и больше ничего! — заключал рассердившийся пан.

— А, знать, пан боится! — задорила Лубенецкого панна.

— Очень нужно!

— Что ж пан такой сердитый?

— Нехорошие вести из Варшавы идут... — сворачивал Лубенецкий на дела по агентуре, боясь зайти в споре слишком далеко...

— Какие? Какие? — интересовалась пан-

на. — Может, что и очень нехорошее?

— Сказать этого нельзя, но... — и Лубенецкий врал что-нибудь подходящее.

Панна успокаивалась.

Интерес ее, однако ж, к личности Яковлева нисколько не уменьшался. Панна интересовалась сыщиком не на шутку. И действия его и сама его личность показались ей чем-то особенно выдающимися из ряда обыденных явлений жизни. Ей полюбили и пошлое, чиновничье лицо Яковлева, и его речь, пересыпаемая грубыми, непристойными остротами с не менее непристойными улыбочками, и его смелые, смелые до наглости выходки. Чем-то грубым, прямым, но тем не менее оригинальным веяло, как ей казалось, от сыщика. Ничего подобного не встречала она в своей жизни. Она видела немало людей: видела красавцев, видела людей, великих умом, сердцем, отличавшихся военными подвигами, дипломатическими способностями, но как-то не замечала их. Они проходили перед ее глазами, как виды в калейдоскопе. Может быть, это происходило оттого, что хорошенькая панна, выйдя из нищеты, балуемая успе-

хами и красотой, была несколько надменна, а может быть, и потому, что, выросшая в бедной, но свободной семье, при отце, старом воине, понимала некоторые вещи по-своему. При всем этом она была женщина, а у женщин есть две, им одним свойственные, слабые стороны, именно: сострадание и любопытство, которое очень часто переходит в любовь. Большинство привязанностей у женщин и начинается с этих двух вещей. Гавриил Яковлев возбуждал в панне Грудзинской любопытство. Любенецкий, хотя и сердился, сердился, разумеется, не явно, на панну за это любопытство к какой-то, по его мнению, гадине, но все-таки не придавал ему особенного значения. Он смотрел на это, как на каприз, не имеющий никакого смысла. В глубине души самолюбивый пан считал уже хорошенькую девушку «своею» и вообще находился в положении человека, который не особенно-то блюдет и гонится за тем, что от него не может ускользнуть. В этом отношении пан Лубенецкий плохо знал Грудзинскую. Когда затрагивалась струнка души ее, она умела быть очень и очень даже самостоятельной. Прозор-

ливый пан не знал еще, что за ее миленьким личиком со вздернутым носиком, за ее очаровательной, как бы детски-невинной улыбочкой, за ее грудью, наконец, великолепнейшей грудью, могло скрываться нравственное безобразие...

III

Несколько сурово и недоверчиво встретил Лубенецкий Тертя Захарыча.

Увидав вошедшего в кофейню горбуна, он сразу сообразил, что недаром прилетела к нему эта хищная птица.

— Я к вам-с, — подошел Тертый Захарыч к Лубенецкому.

— Вижу, что ко мне. Чего вам?

— Мне бы одно словечко... куда-нибудь... в сторонку...

Лубенецкий пригласил горбуна в свою отдельную комнату и приказал подать пеннику.

Хватив одну-другую чарку, Сироткин, без всяких околичностей, прямо приступил к делу.

— Вам известно-с, — начал он, — я служу у Гавриила Яковлевича письмоводителем.

— Хорошо известно, — произнес Лубенецкий, смотря вкось.

Тертий Захарыч скромно откашлялся, свернув голову в сторону, и при этом слегка прикрыл ладонью рот.

— Вот-с... знаете ли... дело такого роду-с...

— Да вы, пожалуйста, не стесняйтесь, — проговорил с досадой Лубенецкий. — Говорите без обиняков, что вам, собственно, надо? Если денег, так сколько и за что именно?

Тертий Захарыч оглянулся и оправился.

— Конечно, я человек маленький, меня легко обидеть, и жизнь-то моя — точно вот муха в осеннюю пору: то туда, то сюда, а все плохо, дунуло холодком — и нету ее...

Лубенецкий посмотрел на горбуна.

— К чему это вы такую жалобную песню запели?

— А к тому-с, видите ли, что уж вы больно строго на нас, маленьких людей, смотреть изволите. Вестимо, что мы за люди! Так себе, недоноски какие-то, а все же у нас тоже, как и у других, душа христианская есть. Мы тоже христиане, а не грабители какие придорожные.

— Все это прекрасно. Но что же вам надо?

— Теперь-с мне, извините, ничего не надо. Коли вы так на нашего брата, бедняка, смотрите, так ничего не надо. Я, собственно, для вас, а вы — такое-этакое... точно мы собаки бесхвостые: на всякого прохожего кидаемся...

— Полно расписывать-то. Говорите толком.

— Теперь-с между нами толку нет, — произнес решительно Третий Захарыч и встал. — Прощайте-с.

«Подите, каков! — подумал Лубенецкий, — такая дрянь, и тоже с гонором. Вот не ожидал».

Третий Захарыч между тем направился к двери и готов был не шутя уйти. Лубенецкого моментально охватило любопытство. Желчь его исчезла. «Черт возьми! — пробежало в голове его, — может быть, он и в самом деле с чем-нибудь важным пришел, а я обижаю его. С коих это пор начал я глупить так! Досадно, право!»

— Эй, послушайте! — позвал он Третья Захарыча, — остановитесь-ка!

Сироткин остановился.

— Что угодно-с?

— Садитесь, прошу вас.

Тертий Захарыч, как бы нехотя, сел на прежнее место.

— Вот что, вы меня извините, — более уже мягким тоном проговорил Лубенецкий. — Я нынче как-то не в духе...

— Что ж, бывает-с...

— Не угодно ли еще? — предложил Лубенецкий, указывая на пенник.

Тертий Захарыч выпил.

«Какая, однако ж, он каналья!» — думал Лубенецкий, измеряя взглядом гаденькую фигурку Тертия Захарыча, который, сидя, в свою очередь, исподлобья пронизывал глазами Лубенецкого, размышляя: «Нет, брат, шалишь! Мы и не с такой сволочью ладили, а то ты тут вздумал!.. Ну-ко вот, посиди, а мы тебя ошпарим потом, как индейку... Что-то ты тогда скажешь, жид проклятый!»

— Ну что ж! Что скажете-то? — спросил его жид проклятый, которому поскорее хотелось узнать причину посещения горбуна.

— Дело серьезное-с, размышления требующее, — проговорил Тертий Захарыч, пропус-

кая еще чарочку.

— С чьей стороны?

— С вашей-с.

— Например?

— Позвольте получить задаточек — объясним-с.

— Давно бы так и говорили! Сколько?

— Сколько пожалуете. Мы народ бедный.

— Пять карбованцев довольно будет?

— Спасибо и на том. А уж после позвольте прибавочку пожирнее.

— Какое дело?.. Если так — я за платой не постою. Если же вы меня вздумаете обмануть, то, извините за откровенность, я со сволочью сам сволочью делаюсь.

— Нет, зачем же-с!.. Мы на чести... Позвольте получить...

Лубенецкий кинул ему деньги. Третий Захарыч взял их осторожно.

— Теперь можно-с... теперь-с дело совсем другое... — проговорил он, засовывая в карман золотые, и рассказал Лубенецкому о докладе, который приготавливает Яковлев, обещая доставить ему копию.

— А... ну что ж... и прекрасно! — сказал,

выслушав Тertia Захарыча, Лубенецкий. — Доставьте: заплачу... Во всяком случае, вещь любопытная. Я люблю любопытные вещи. И скоро доставите?

— На днях-с будет готово...

IV

Лубенецкий с Сироткиным расстались чуть ли не приятелями. Сироткин, обрадованный легким, совершенно даровым получением карбованцев, долго и низко раскланивался с Лубенецким, весьма много возвысившимся в его глазах, — такова уж сила денег. Лубенецкий же, в свою очередь, обрадовавшийся случаю узнать кое-что про таких же птиц, как он, пожимал Тertia Захарычу руку и приглашал бывать у него в кофейне запросто, по-приятельски. Тertia Захарыч обещал не забывать столь приятного для него приглашения. Дело вообще приняло хороший оборот для обеих сторон. Тем не менее встреча с письмоводителем сыщика произвела на Лубенецкого не особенно-то приятное впечатление. Но тут не были виновниками ни Тertia Захарыч, ни предмет, о котором шла речь. Лубенецкому просто взгрустнулось по поводу

этой встречи. Какая-то «дичь» и дрянь полезли в его голову и начали затрагивать давно зажившие раны. Вспомнил он свое детство, грязное и бессмысленное, вспомнил свои первые подвиги на поприще «наживы» и «обмана», вспомнил первые впечатления молодости, первые силы, первые радости, вспомнил, наконец, и свою первую встречу, встречу чисто деловую, с панной Грудзинской, которая сделалась для него в настоящее время каким-то идолом, каким-то духовным олицетворением счастья и наслаждения. Вспомнил — и непостижимая тоска охватила его. Гадко, мерзко сделалось ему за себя.

«Кто я? Что я? — размышлял он в странном озлоблении. Куда я иду? Приду куда? Что мне надо, наконец? Неужели я только для того и жил и живу, для того только и подличаю, продаю все и всех, чтобы добиться поцелуя девчонки, которую я сам же, своими же собственными руками из грязи вытащил, обмыл и нарядил в золото! Неужели для того только? О, как глупо, как невыносимо! И откуда взялась эта привязанность? Как я натолкнулся на нее? На что она мне? Для наслаждения? Но

что такое наслаждение? Если понимать его в прямом смысле, то я уже насладился и с помощью денег могу наслаждаться и долее. Деньги у меня есть. Отчего же у меня нет той силы воли, которая бы заставила меня забыть ее, предмет моего внимания, в смысле привязанности! На что она мне? Что мне в ней? Я должен смотреть на нее таким образом. Она для меня сделалась священна. Черт возьми! Это нелепость, я сознаю, но тем не менее я не могу отрешиться от этого нахлынувшего на меня затмения. Я все более и более ухожу в эту очарованную темноту. И когда я успел привязаться? В течение какого-нибудь месяца! Глупо! Странно! Нелепо! Это не более как ловкое кокетство с ее стороны, которого я не умел направить в свою сторону. Привязанность эта мне не нравится. Я хотел бы между нами более простых отношений. Простые отношения между мужчиной и женщиной как-то более подходят под строй нашей обыденной жизни, кроме того, они не так волнуют кровь, не беспокоят. И я добился бы этих отношений, если бы не имел глупости привязаться. О, эта дурацкая привязанность! Я всегда был против

привязанностей каких бы то ни было, любовных же — в особенности, и вдруг сам же привязался к девчонке и готов на тысячу глупостей! И что всего прискорбнее: я сознаю, что она не уйдет от меня, даже отчасти спокоен на этот счет, сознаю, что она должна быть моей и будет, и в то же время — робею перед ней, трушу, а она с ловкостью, ловкостью чисто инстинктивной, поддерживает во мне эту робость. Она ведет себя, как женщина, которая кажется доступной, на деле же остается недосыгаемой, что и составляет верх женского искусства... Гадко! Гадко! Гадко!»

Лубенецкий с досады теребил себе волосы и строил тысячу планов, чтобы избежать как-нибудь влияния на себя панны Грудзинской. «Удалить ее? Самому удалиться? Но это невозможно по сотням причин. А это одно могло бы спасти его. Но, как знать, может быть, он тогда еще более привяжется к ней и, чего доброго, будет гоняться за ней еще более. Отдаться вполне делу агентуры: ходить, разузнавать, волновать умы неопытных людей? Может быть, это развлечет его... но... опять являлось несносное «но», и план рушился, как

карточный домик ребенка... Долго волновался Лубенецкий, долго мысли его не приходили в порядок, наконец мало-помалу он успокоился. Ему захотелось отдохнуть. Он приказал подать себе трубку табаку, чисто турецкого табаку, с легкой дозой восточных наркотических экстрактов, и начал меланхолично затягиваться. Для успокоения нервов или чтобы дать своим мыслям новый оборот пан Лубенецкий нередко прибегал к этому средству. Корча из себя природного турка, он и для гостей, особенно же для гостей восточного происхождения, тайком, разумеется, имел у себя и гашиш, пользуясь им, впрочем, умеренно. С этой же целью имелась у него и отдельная комната в мавританском вкусе с разноцветными стеклами в окнах, с матовой лампой в куполе. Разноцветные стекла, как известно, для потребителей гашиша имеют особенную, неотразимую прелесть, ибо они есть первые проводники так высоко ценимых наслаждений при опьянении гашишем. Со своими гашишниками Лубенецкий не особенно-то много церемонился, хотя и брал с них за наслаждение столько, сколько можно было взять.

Чуть кто из них входил в непозволительный экстаз, он сейчас же обдавал его холодной водой, а в рот вливал водку, которая чуть ли не моментально отрезвляла гашишника.

Лубенецкий не находил нужным обращать на себя особенное внимание.

Выкурив трубку, он растянулся на оттоманке. Мысли его прояснились. Жгучая тоска, навеянная Бог весть чем, прошла. Он вспомнил давешнюю встречу с письмоводителем Яковлева, вспомнил предложение горбуна, и этот предмет вполне овладел мыслями Лубенецкого.

«Дело действительно большой важности, — рассуждал он, лежа, — даже очень большой. Я из дурацкого доклада сыщика узнаю то, что мне именно и знать надобно. А я еще и говорить с этим горбуном не хотел! Дурак я, право! На меня просто какое-то одурение нашло. Ведь этак, пожалуй, и впросак попадешь. Тот же подлец Яковлев сделает какую-нибудь неожиданную «подковырку» и подведет тебя под кнут. Здесь расправа коротка. А все это проклятое увлечение, все оно мутит меня, точно мальчишку какого-нибудь

двадцатилетнего. Нет, конечно! Любовь — любовью, а дело — делом. Одно другому, если рассудить хорошенько, и не помешает. В последнее время я почти совсем упустил из виду этого пройдоху Яковлева, а упустить его никогда не следовало. Такой мерзавец пригодится везде и всегда. Пусть я и покончу с агентурой, не желая быть последним в числе последних, пусть я и сделаюсь чисто русским человеком, а все-таки такая личность для нашего брата — находка. Он мерзавец, но — простой человек. А с этими... черт с ними совсем, с этими великими людьми, с этими Наполеонами! Чем к ним ближе, тем опаснее. Ты из тела, а они из железа. Падает на них удар — отскочит, а тебя тут же удар согнет в три погибели. Им все простительно, а тебе — ничего. Ты курицу чью-нибудь неосторожно тронул — и тебя могут отстегать плетьюми, а они устраивают публичную резню, смотрят на нее, как на представление актеров, потом скажут какой-либо каламбур или подходящее изречение древности, и все кончено, им же еще кланяются, их же еще восхваляют, а по смерти — воздвигают мавзолеи. Нет, подальше

от таких людей! Благо, есть случай подходящий: я в России, где можно забраться в такую глушь, что тебя сам черт не отыщет. Только покончить бы с этими, уже начатыми, делами. Нельзя же так — вдруг, ни с того ни с сего — и убежал, мало того, что опасно, даже — невыгодно. Я еще могу кое-что перехватить от Савари. Денег-то у них много. Ограбили Италию, и деньги еще не скоро выйдут... Ну, а потом... потом уж я подумаю, куда кинуться и за что взяться. Одно смущает меня, это... Но вот — опять она! — Как будто кто-то другой подсказал Лубенецкому: опять она! — Что ж это такое! — взялся Лубенецкий за голову и сейчас же мысленно воскликнул: — Не могу я отрешиться от нее и не могу потому, что она с некоторого времени кажется мне более чистым созданием, чем другие женщины, более благородным, более неприкосновенным, и я слабею перед ней, я готов боготворить ее. Сам вижу, что глупо это, весьма глупо, она такой же временно оживленный кусок мяса, как и другие, так же слаба, как и другие, теми же, наконец, обладает животными инстинктами, как и другие, а не могу я встречаться с ней без

внутреннего содрогания, без какой-то тоски и за себя, и за нее, без какого-то странного уныния за будущее. Минутами, при взгляде на нее, я впадаю в какое-то лихорадочно-восторженное настроение: готов целовать ее руки, ноги, готов, наконец, умереть возле нее, минутами же она двигается передо мной медленным, безостановочным и зловещим движением свернувшейся и застывшей змеи, которую начинает отогревать солнце. В эти минуты она кажется мне холодно-отвратительной, и я повторяю: «Змея! Змея!», но один взгляд ее — и все исчезнет в тумане какого-то очарования, чудного до опьянения, невыразимого до той боли, тупой, томной, замирающей, которую человек чувствует во сне, во время грезящегося падения... Что ж это такое? Что? — думал Лубенецкий уже горячо и порывисто. — Или я дурак набитый, или она действительно необыкновенная женщина, перед которой я должен склониться, пасть ниц, сделавшись из повелителя ее — рабом». «Да, да, да!» — точно сказал ему кто-то из-за угла, и, странно, в ушах его прозвучал этот неведомый голос. «Да, да, да!» — прозвучало тихо и

так явственно, что Лубенецкий даже встал и заглянул в тот угол, откуда, как казалось, исходил голос. «Кто здесь?» — спросил он, совершенно помимо своей воли. Ответа не последовало, а в комнате сделалось еще тише: даже не слышно стало и глухого шума, который доносился из кофейни, точно замерло вокруг. «Вот еще неожиданность! — думал он, щелкая пальцами по стенке угла и слегка трогая ногой пол. Ни шороха от постукивания по полу ногой, ни звуков от щелчков по стене. — Странно! Не фокус ли это акустический!» Ради испытания Лубенецкий сильно стукнул об стену кулаком. Кулак не почувствовал боли, а звука опять не было. «Так и есть, фокус!» — решил он и начал ходить взад и вперед по комнате, все более возле стен, с намерением отыскать ключ этой тайны, которая сильно заинтересовала его. Панна Грудзинская, однако ж, тоже не выходила из его головы. Проходясь, он все думал: «Что она теперь? Что делает? Сидит? Гуляет? Хорошо бы посмотреть... любопытно, когда обожаемая женщина остается одна, наедине со своей совестью... что она думает? Что волнует ее? Горе? Утра-

та? Радость победы или горечь побежденного, чем бы то ни было — все равно: совестью, словом, обманутыми надеждами, странной встречей...» Перед глазами Лубенецкого промелькнули какие-то невероятные картины, промелькнули и исчезли, оставив в голове томительный сумбур. «Фу, черт... как глупо! — сказал он вслух и сейчас же в раздумье прибавил: — Эх, дрянь!» Вдруг недалеко от него что-то звякнуло, точно уронил кто железную цепочку. Лубенецкий оглянулся и застыл на месте: перед ним стояла Грудзинская.

— Вы... как сюда?.. — пролепетал он, остановив на ней пристальный взгляд.

Панна, в свою очередь, глядела на него пристально, и что-то невыразимое было в глазах ее: то они сверкали, как молния, то вдруг принимали тусклый цвет, подобный олову. Последнее замечалось чаще.

— Я... к тебе... — проговорила она голосом, подобным шелесту листьев.

Лубенецкого что-то приятное щипнуло за сердце и кинуло в жар.

— Ко мне! — сказал он. — Но ты у меня никогда не была. Что тебе вздумалось навестить

меня?

— А ты хочешь знать?

— Хочу... разумеется...

Девушка помолчала, как бы собираясь с мыслями, и потом тихо-тихо проговорила:

— Я люблю тебя.

Она так тихо произнесла эти слова, что Лубенецкий скорее догадался, чем услышал их.

— Любишь! — повторил он с изумлением и радостью.

— Да, да! — прошелестела она. — Подойди ко мне.

Лубенецкий шагнул к ней порывисто.

— Сюда, вот сюда! — и она очутилась совсем на противоположной стороне комнаты.

Лубенецкий стоял, уже не трогаясь с места.

— Ты уходишь... — произнес он.

— Нет, нет! — прошептала она с каким-то внутренним смехом, от которого на мгновение задрожало все ее лицо, белое до прозрачности.

«Как она изменилась! — мелькнуло в голове Лубенецкого. — Что это значит?» И у него появилось желание рассмотреть ее. Не трогаясь с места, издали, он окинул ее взглядом с ног

до головы. Девушка, как бы понимая, что ее рассматривают, стыдливо склонила голову. Прежде всего Лубенецкого поразила наряд ее: она была в одной длинной рубашке, настолько тонкой, что она показывала очертание стана женщины... Она как бы дразнила его своей полунаготой...

Сердце Лубенецкого дрогнуло, ум помутился, и он мгновенно очутился подле нее. Теперь она уже не бежала от него. Нет, она как будто сама искала его. Когда он очутился подле, она пошатнулась всем своим станом вперед и протянула руки. Лубенецкий не устоял и приложился губами к протянутой руке. Девушка, видимо, почувствовала глубокое наслаждение и вся облилась румянцем.

— Еще! — проговорила она страстно, обнажая руку до плеча.

Круглое, молочного цвета, зарумянившееся плечо красавицы резко сверкнуло в глазах Лубенецкого, и в глазах его зарябило, сердце сжалось, а руки протянулись, чтобы охватить это прелестное создание.

— Ты моя! — воскликнул он с жаром.

— Да, да! — пролепетала она и вдруг, как

туман, исчезла куда-то.

Как угорелый кинулся Лубенецкий к двери. Дверь была отворена настежь. Через мгновение он очутился в кофейне. Кофейня была полна народом. Кто пил кофе, кто читал газеты, кто прохаживался с трубкой в зубах, но — странно — тишина в кофейне была невообразимая и, кроме того, никто не замечал его личности, и посетители все были незнакомые. Он обратился к одному из посетителей с вопросом: «Послушайте, не видали ли вы...» Но тот не дал ему договорить и вместо ответа пустил ему прямо в лицо клубок дыма. Лубенецкий поморщился и уже разинул рот, чтобы назвать невежливого посетителя «свиной», как тот моментально превратился в чубук и пошел плясать по кофейне. «Ну, это чушь!» — подумал Лубенецкий и направился к выходной двери, весьма резонно допуская, что Грудзинская выбежала на улицу. Сделав несколько шагов в коридоре, он, в самом деле, внизу на лестнице услышал тихие, неспешные шаги женщины. «Она!» — решил Лубенецкий и торопливо начал спускаться по лестнице. Когда он вышел на двор, его

прежде всего поразили груды снега, лежавшие на улице и на крышах домов. «Что это? Зима? Вот странно! Кажется, еще только август месяц! Впрочем, может быть, только сейчас выпал снег, а я и не видел. Отчего же мне не холодно? Напротив, даже жарко...»

— Владислав, коханный! Я здесь! — как-то глухо и чудно прозвучал голос молодой девушки в нескольких шагах от него. — За мной!

И Лубенецкий явственно увидел, как девушка, запахнув свою длинную рубашку, нырнула на другую сторону улицы. «Я должен поймать ее», — решил он и зашагал туда же. Она стояла около водосточной трубы и как бы поджидала его. Была ночь, но не месячная, зимняя ночь, а ночь, когда, неизвестно отчего — от белизны ли снега или от звезд, мерцающих на небе, — по всему разливадается тот мягкий, белесоватый свет, который кажется светом от спрятавшейся за тучи луны. При таком свете предметы принимают странные, причудливые формы. Девушка при нем потеряла все свои резкие очертания, она, казалось, состояла из белого пара. Лица не было

видно. Когда Лубенецкий приблизился к ней, она тихо подвинулась далее.

— Куда же ты? Постой! — воскликнул он, задыхаясь.

Ответа не было. Чудное видение подвинулось еще далее. Лубенецкий приходил в задор.

«Неужели она уйдет от меня? — промелькнула в нем мысль, как молния. — Нет, нет, она моею будет», — обнадеживал он себя и с особенной силой кинулся за чудным видением. Видение моментально заныряло в снегу. Занырял в нем и Лубенецкий. Он долго гнался за видением; уже, казалось, ловил, схватывал, обнимал, готов был запечатлеть безумный поцелуй, но она с какой-то неестественной силой вырывалась и двигалась все далее и далее. Наконец он обессилил. Сначала его обдало жаром, потом словно белый туман из сырой долины охватил его... Он упал... сердце его стеснилось, ноги уперлись во что-то твердое, точно приросли к чему-то, дыхание захватывало, в груди ныло... Он хотел вскрикнуть и — почувствовал на своем плече чью-то руку...

Лубенецкий открыл глаза и увидел, что он лежит на чем-то мягком, протянувшись во всю длину тела.

«А, это я видел во сне», — подумал он и приподнял сильно отяжелевшую голову.

Было еще светло, но уже вечерело. Лубенецкий обвел вокруг себя сонными глазами, и первое, что попало ему на глаза — это чья-то, торчавшая перед ним, личность.

Лубенецкий быстро встал и сел на оттоманке.

— Кто вы? И что вам надо, говорите!

— Вот тебе раз! Не узнал! — услышал он знакомый голос. — Ну, в таком случае имею счастье представиться: Гавриил Яковлевич Яковлев.

— А! — протянул Лубенецкий, торопливо вставая с оттоманки и протягивая Яковлеву руку.

— Бе! — передразнил его сыщик, дружески пожимая протянутую руку и вместе с тем пуская, свернув голову немного в сторону, так хорошо знакомый Лубенецкому смех, похожий на дребезжание пролетки.

Яковлев приехал к Лубенецкому не один: с ним были Комаров и Верецагин, и в то время, как Яковлев будил спящего Лубенецкого, Комаров и Верецагин беседовали в кофейне, ожидая «зверя», как называл сыщик содержателя ее. Зверь этот, в сопровождении сыщика, не замедлил появиться. Яковлев сейчас же познакомил его с Комаровым и Верецагиным.

— Имею честь представить, — говорил сыщик, — Комаров, Матвей Ильич, всероссийский сочинитель, строчила, сиречь творец «Английского милорда», от которого многие умники с ума сходят. А сей юноша, — указал сыщик на Верецагина, — Михаил Николаев, купеческий сын. Прошу любить и жаловать.

Лубенецкий любезно раскланялся с новыми знакомыми и своим обращением, фигурой, речью произвел на них весьма приятное впечатление.

«Да он совсем не похож на зверя», — думал добродушный Матвей Ильич, пристально поглядывая на Лубенецкого.

У Яковлева решительно не было никакой цели относительно знакомства Лубенецкого с

Матвеем Ильичом и Верещагиным, если не считать того, что сыщик хотел показать Комарову Лубенецкого, как любопытный образчик «хорошего разбойника», могущего пригодиться автору для повести.

Яковлеву просто хотелось повидать Лубенецкого по своим делам, чисто личным.

В последнее время Яковлев наблюдал за Лубенецким издали, предполагая, что не «оборвется» ли он на чем-нибудь, но хитрый пан не обрывался. Далее посещения панны Грудзинской дело у него не заходило.

Об этих посещениях Яковлев имел самые подробные известия.

Он успел уже через одного из своих ищеек, посредством угроз и награждений, привлечь на свою сторону кучера Грудзинской Гринцевича и его любовницу Феклушу, которая была нечто вроде домоворш у панны. Глупая, но пронырливая Феклуша обязана была сообщать Яковлеву все подробности обыденной жизни Грудзинской, особенно же когда посещал ее Лубенецкий, что она и исполняла аккуратнонейшим образом, но все передаваемое ею решительно не имело никакого значения

для сыщика.

Видя постоянно шныряющую взад и вперед по комнатам Феклушу, Лубенецкий инстинктивно понял, что дело не чисто. Не подавая ни малейшего вида подозрительности, он держал язык за зубами; кроме того, и не до агентуры ему было, он весь был поглощен созерцанием красоты панны.

Что же касается самой панны и подруги ее Прушинской, то Грудзинская давно уже махнула рукой на «прямые свои обязанности», а Прушинская была решительно безгласное создание, хотя и хитрое до крайности.

Красивая собой, несколько полноватая, Прушинская составляла положительный контраст с подругой своей, Грудзинской. Насколько Грудзинская была жива и подвижна, настолько Прушинская — неповоротлива и молчалива; что как-то вовсе не вязалось с ее свежей молодостью и красотой. Замечательно, что Польша, обладающая резвыми, бойкими красавицами, обладает и красавицами совершенно противоположного свойства, то есть похожими больше на автоматов, чем на живых людей. Подобные субъекты больше

всего встречаются в небогатых шляхетских семействах, на которых с особенной силой отражается влияние католицизма и ближайших представителей его — ксендзов.

Эмилия Прушинская была природная шляхтянка, но так же бедны были родители ее, как и родители Грудзинской. Сошлась она с Грудзинской в раннем детстве. Как-то рядом пришлись бедные «маентки» их отцов. Молодые девушки часто видались, играли вместе и незаметно привязались друг к дружке, невзирая на резкую противоположность характеров. В то время как счастье в виде Лубенецкого улыбнулось Грудзинской, она тотчас же пригласила к себе Прушинскую. Девушки с тех пор и не разлучались. Грудзинская вертелась, где только можно было вертеться, обдывая свои делишки, а Прушинская с утра до ночи не выпускала из рук молитвенника. Все это, однако ж, не мешало им жить вместе. Они мало говорили между собой, говорили больше глазами и движениями и отлично понимали друг друга. Единственное достоинство, которым обладала Прушинская, было то, что она вместе с каким-то бестолковым хан-

жеством совместила в себе и замечательную терпимость, и это было не хитростью с ее стороны, а чисто какой-то нравственной бестолочью. За это больше, имевшая свойство «пошалить» по-своему, панна Грудзинская и полюбила Эмилию, как-то свыкшись с тем, в глубине души, что Прушинская, невзирая на свою видимую холодность ко всему, обладает теми же качествами «страстности», какими и она, Грудзинская, иначе не могла объяснить терпимости своей подруги. И в самом деле, при взгляде на панну Эмилию, полную, свежую, румяную, с чересчур говорящими глазами, с волосами белокурыми, но имевшими какой-то пурпуровый отлив, — не верилось как-то, чтобы в этом здоровом теле, слишком даже здоровом, могла гнездиться неприступная холодность. Грудзинская, однако ж, не сомневалась в ее девственности. Она знала Прушинскую в этом отношении как самое себя. Девственницы даже спали в одной комнате, стало быть, никаких тайн между ними не существовало. Странное впечатление производили обе эти девственницы на того, кто с ними встречался впервые. Чем-то воздушным,

идеальным веяло от легкой, грациозной Грудзинской, хотелось смотреть на нее, любоваться ею, слушать ее. Она порхала, как бабочка, или двигалась с безмятежной, прекрасной прелестью. Говорила тихо, вкрадчиво, пленительно, иногда же лепетала, как дитя. И то и другое шло к ней. Она казалась воплотившейся грезой, и поэтому как бы призрачная фигура ее так и просилась на полотно. В средние века, надо полагать, с таких именно существ великие художники писали своих мадонн. Панна Эмилия, напротив, поражала, прежде всего, своей тяжестью и мощью и просилась не на полотно, а на что-то другое, более житейское. Так и сулила вся ее статная фигура супружеское благоденствие и кучу здоровых детей.

Когда Яковлев, особенный ценитель женских прелестей, встретил обеих девушек, Грудзинская поразила его и как бы даже облагородила его чувства. Прушинская, напротив, так и обдала его, свойственным одним молодым, здоровым женщинам, запахом. «Вот так телеса!» — подумал сыщик и на всякий случай наметил ее в своей памяти.

Панна Грудзинская, однако ж, как-то более подзадоривала чувственность сыщика. С тех самых пор, как он виделся с ней у Метивье, она как-то не выходила у него из головы. Ему грезился то красноречивый, то потупленный взгляд польки-красавицы, и много кое-чего воображение его читало в том потупленном взгляде.

Яковлев, надо сказать, был вполне русский человек, и поэтому воображение его перекроило польку совершенно на русский образец. Далеко не умный, грубый до зверства, Яковлев, однако ж, как нередко случается с натурами, действующими по инстинкту, обладал живым воображением, приближаясь тем к натурам поэтическим. Относительно женщин у него был свой взгляд. Он привык воображать прелестную женщину с потупленным взором, свидетельством девственной робости, с жаром любви, таимым от всех и оттого еще драгоценнейшим для счастливецца. Много в жизни своей Яковлев сходился с женщинами, но ни одна из них не подходила под его инстинктивный идеал, а потому он смотрел на них совершенно с животной точки зрения.

Повстречай он в лета своей юности подобную женщину, то — как знать, — может быть, отвратительные инстинкты его были бы направлены иначе, в лучшую сторону. Но Яковлеву не везло как-то в этом отношении, ему приходилось брать женские ласки с бою, и он успешно брал их, тем не менее это его огорчало и еще более подливало в его душу ожесточения, против всех и всякого. Любовь женщины — одно из самых лучших средств смягчить самую жестокую натуру. Ласковый взор любимой женщины имеет чарующее действие. К несчастью сыщика, чаша сия миновала его, почему физический урод сделался еще и уродом нравственным. Панна Грудзинская была первая женщина, которая заставила его несколько призадуматься и, кроме того, как будто подала повод рассчитывать на «нечто». Это «нечто» польстило самолюбию уroda, и урод начал смутно на это нечто надеяться. Минутами прелестный образ панны Грудзинской даже начал вытеснять все другое из головы сыщика. Сначала сыщик, удивленный такой неожиданностью, старался отогнать мечту, как неотвязную муху, но по-

том, незаметно для самого себя, освоился с ней, привык, и вот сегодня, то есть в день, встречи с Верещагиным, когда тот упивался ласками юной Надежды Матвеевны, под впечатлением такого случая у сыщика окончательно созрела следующая мысль: «А что, в самом деле! Ведь и я тоже могу рассчитывать кое на что. Неужто она такая неприступная, такая великая, что и руки не дотянешь. Быть этого не может! Все под Богом ходим. Хожу я, ходит и она... А попробовать нисколько не мешает... Может, и выгорит»... Следствием подобного раздумья было то, что Яковлев под предлогом «дел» устроил свое посещение к Лубенецкому. Кроме того, что ему хотелось повидать Лубенецкого, он рассчитывал еще и поболтать с ним о Грудзинской, для чего — неизвестно, но, может быть, из этого неизвестного и выйдет что-нибудь. Сыщик мог бы посетить Грудзинскую и лично, но ему почему-то не хотелось этого. «Разумеется, пожалуй, — думал он. — «Этакие дела» хороши только при освещении». Под «эткими делами» сыщик разумел благоприятные встречи. Первая встреча с Грудзинской ему благопри-

ятствовала. Он явился перед ней во всеоружии своей силы. Таковы же, по его мнению, должны были быть и последующие встречи, иначе дело будет испорчено. В этом отношении Яковлев рассуждал как мудрец и как хороший знаток женского сердца. Женщины вообще, как известно, несколько экзальтированы, и будничная обстановка чего бы то ни было притупляет их чувство. Истина известная, что редкая из женщин не ищет в избраннике своем героя и не любит, чтобы все явилось ей при некотором освещении, забывая, что в жизни человеческой героизм вещь относительная, да мало вообще и относительных-то героев. Ведь ни идеалы дивные и не самопожертвования какие-нибудь, а мелочи наполняют каждый день нашей жизни известной долей неприятных или приятных ощущений. Большинство женщин как-то не хотят понять этого, и не оттого ли является столько несчастных, обманутых женщин, и не оттого ли в среде их встречается столько разочарованных и разбитых жизней!

Яковлев знал еще и то, знал, разумеется, через Феклушу, что Грудзинская нередко

спрашивала о нем у Лубенецкого и что Лубенецкому не нравилось это. «Тут еще закорючка какая-то, — рассуждал по этому поводу сыщик, — должно быть, жидовская образина тоже на нее зубы потачивает. Ну, да пусть его, останется кое-что и для нас. Мы люди не разборчивые. Нам все подавай, все сойдет. Съедем зайца, съедем и крысу».

Сыщик действительно в жизни своей был не разборчив, не требователен и не щепетилен. Суровая школа, которую он прошел в детстве, будучи кантонистом, научила его пользоваться крохами от других и быть довольным всем, что попадалось под руки. В некоторых случаях Яковлев был неразборчив до свинства. «Нашему вору все в пору», — говорил он в подобных случаях, и был по-своему прав.

VI

Первым делом Яковлева и новых знакомых Лубенецкий пригласил в свою комнату. Было подано кофе, «ерофеич» и трубки-стамбулки. Понемногу завязался разговор. Матвей Ильич, любитель всего таинственного, остался комнатой весьма доволен и по поводу та-

ких таинственных помещений рассказал что-то из арабских сказок. Содержатель кофейни ему решительно понравился, и Комаров дал обещание навещать его кофейню почаще. Верещагин был как-то не в себе: впечатления дня слишком утомили и его. Он больше молчал и слушал. Лубенецкий, отнесшийся сперва с недоверием к новым знакомым, увидел, что это люди совершенно безвредные и что Яковлев привез их к нему «так себе». На Верещагина он, однако ж, обратил особенное внимание. Образованный молодой человек был бы для него нелишним. Лубенецкий с двух-трех слов разгадал юношу, подробно узнал, сколько у его отца гербергов и полпивных, какого сорта народ в них бывает, и все намотал себе на ус. Подобно Яковлеву, такой же проныра, как и он, Лубенецкий так же хватал случаи на лету и старался обращать их в свою пользу. Яковлев и Лубенецкий не принадлежали к числу обыкновенных негодяев. Это были артисты своего дела, испытанные, смелые, хотя и казавшиеся на взгляд дюжинными личностями. Только плохие негодяи рисуются перед другими, только они строят тыся-

чу планов предположенной гнусности. Настоящие же негодяи пренебрегают предварительными подготовками, очень хорошо зная, что заранее придуманные предложения никогда не сходятся с той действительностью, которая может представиться. Достоинство подобных негодяев заключается в том, что они нередко с какой-то дьявольской находчивостью быстро обращают в свою пользу первый попавшийся под руку факт и поражают им своего противника неожиданно и верно...

Недальновидный молодой человек и не подозревал, что он без особенных поводов делается какой-то странной мишенью для двух стрелков, стоящих совершенно на противоположных точках, и всему этому причиной — знание им иностранных языков и его молодость.

Ласково, учтиво Лубенецкий просил и Верещагина не забывать его кофейни, обещаясь, в свою очередь, посетить его как-нибудь.

Яковлев ухватился за это приглашение.

«Отлично! — рассуждал он. — Превосходно. Не узнаю ли я кое-что этим путем. Юноша в моих руках. Лубенецкий, наверное, встреча-

ясь с ним, как с неопытным человеком, будет говорить напрямки. Этого-то мне и нужно. Тут-то я его и подловлю, если встретится на-добность».

Зачем-то вошла пани Мацкевич и потом что-то шепнула на ухо Лубенецкому. Лубенецкий извинился и вышел, обещая через минуту-другую возвратиться.

— Видели? — мигнул Яковлев на вышедшего Лубенецкого, обращаясь к Комарову и Верещагину.

— Предобрейшая он душа, Ганя! — ответил Матвей Ильич, добродушно посасывая стамбулку. — Люблю таких.

— А он-то и есть настоящий разбойник.

— Не верю, Ганя, хоть убей! — качнул головой Комаров. — Предобрейшая душа, и конец делу. Я, братец, раскусил его.

— Я тебе говорю, что разбойник.

— Да ведь у тебя, поди, все разбойники, Ганя, благо, якшаешься с ними.

— А вам как сей мужчина показался, молодой человек? — обратился Яковлев к Верещагину.

— Человек со смыслом, — отвечал Вереща-

гин только для того, чтобы сказать что-нибудь. Он совершенно не обращал внимания на содержателя кофейни и сидел, потому что другие сидели, потому же и слушал и говорил кое-что. Поступок с Надеждой Матвеевной еще не успел выветриться у него из головы и сильно тревожил его мысли. По временам ему даже совестно было смотреть на Матвея Ильича, который сидел с ним рядом.

— Эх, вы, сычи безголосые! — проворчал укоризненно сыщик. — «Предобрейший!» «Со смыслом!» Вам и показывать-то не стоило такого молодца! Не поймете вы его, не вашего ума это дело! Ваше дело только «ерофеич» тянуть!

— А «ерофеич» у него отменный! — подхватил Матвей Ильич. — Надо будет к нему почаще заворачивать.

Вошел Лубенецкий.

— А мы тут про тебя, Федор Андреич! — обратился к нему Яковлев как ни в чем не бывало.

— Что такое? — сел Лубенецкий.

— Да вот почтеннейший сочинитель говорит, что ты — предобрейшая душа.

— Говорю! — отчеканил Комаров.

Лубенецкий приятно улыбнулся Комарову. Комаров ответил тем же.

— Поздравляю! — обратился к ним сыщик. — Новые друзья... с вас спрыски, господа... и хорошие...

— Первую повесть, которую напишу, — проговорил Матвей Ильич, — посвящу тебе и напишу так: «Надворному советнику и кавалеру Гавриилу Яковлевичу Яковлеву — всенижайше посвящает Матвей Комаров, житель города Москвы». Доволен?

— Доволен. А ты, Федор Андреич?

— В моей кофейне все к вашим услугам.

— Пустяки это! Что это за спрыски?

— Что же угодно?

— Мне что угодно? Га! Мало же вы меня знаете, Федор Андреич, что задаете подобные вопросы! Я ведь человек, батенька, человек грешный! Хе! Хе! Хе!

— Ну и что ж?

— А то, люблю иногда побаловаться. Девочки вот, например, моя страсть, да еще — мордашки.

— Что ж вам — не подарить ли мордашку?

— Девочку бы лучше.

— Ну, уж это, извините, желание странное, да и не кстати оно... Что я, торговец невольницами, что ли?

— Все, батенька, в жизни нашей кстати, — затынул какую-то новую, видимо, преднамеренную нотку, сыщик. — Люди грешные. А помолишься — Бог-то и простит. Молись только как истинный христианин. Я вот каждое воскресенье в храм Божий хожу и, слава те Господи, чувствую от тягостей своих облегчение. Может быть, там у вас, по вашей прежней мусульманской вере, это все равно, а у нас, у православных, дело-то на этот счет почище выходит... «К чему это он такую бестолочь загородил?» — подумал Лубенецкий, вопросительно взглянув на сыщика.

— Что смотрите? Я правду говорю!

— Но к чему?

— А я почему знаю! Так, в голову взбрело, и делу конец. Мало ли, что иногда в голову приходит. Иногда такую чертовщину загородишь, что после сам удивляешься. Привычка, мне кажется, может быть, и еще что-нибудь, не разберу, право: не зело грамотен. Всякому

свое. Яблочко катилось вокруг огорода, кто его поднял, тот и воевода. Я не воевода. А вы, Федор Андреич?

— Я мещанин.

— Отменно хорошо! — восхитился ответом Лубенецкого Комаров, все время молча слушавший сыщика. — Я вот тоже мещанин и горжусь тем.

— Доложу вам, Федор Андреич, — улыбнулся сыщик, — Матвей Ильич — славный человек. Вы его полюбите. Впрочем, это не то... Вы не подумайте, пожалуйста, чего-нибудь такого... Я шучу... Я ведь препорядочный шутник. Вы, быть может, не знаете, Федор Андреич! А коли не знаете, так я вам докажу. У меня есть дельце одно, и славное дельце, да не скажу я вам его. Вам не скажу, а кому-нибудь другому скажу.

— Кому же? — спросил Лубенецкий, догадавшийся, что сыщик неспроста городит свою бестолочь, что в этой бестолочи есть свой смысл.

Лубенецкому при этом припомнился доклад, о котором ему сказал Сироткин. «Не о нем ли он речь заводит? — подумал он. — Ес-

ли о нем, я очень рад. По крайней мере, к делу ближе». Доклад не на шутку интересовал Лубенецкого. В нем он предвидел нечто важное для себя. Во всяком случае, иметь его под руками для такого агента, каков был Лубенецкий, стояло на ряду дел большой важности. На горбуна-письмоводителя Лубенецкий не особенно-то рассчитывал. «Принесет, — рассуждал он, — какую-нибудь дрянную бумажонку и убежит. Ему бы только карбованец получить. Да сыщик и не настолько прост, чтобы такие вещи пропускал через руки какого-нибудь писаришки». Словом, Лубенецкий остановился на докладе и даже хотел, чтобы сыщик завел о нем речь.

Сыщик, однако ж, хотя, собственно, и имел в виду доклад, говорил обиняками и вовсе не имел намерения заводить речь напрямки. Хотя он и не стеснялся присутствием Верещагина, но все-таки находил «это дело» для него лишним и неинтересным. Что же касается Комарова, то Яковлев успел уже переговорить с ним о докладе, и Комаров обещался для составления его прийти к сыщику на другой же день с утра.

— Вы спрашиваете — кому? — уставился глазами Яковлев на Лубенецкого после его вопроса.

— Да. Но только вот что еще: дело-то какое?

— А какое дело — это секрет, Федор Андреевич.

— Для кого же не секрет, нельзя ли узнать?

— А, например, для панны Эмилии или еще лучше для панны Грудзинской. Вот для кого! — заключил многозначительно сыщик.

Лубенецкий медленно поднял глаза на Яковлева. Взгляды их встретились и высказали многое. Прошла минута молчания, красноречивого молчания для содержателя кофейни и сыщика, но вовсе непонятного и чуждого для Комарова и Верещагина, из которых каждый был занят своими мыслями.

После этого, машинально как-то, Лубенецкий предложил выпить. Все выпили, потом еще выпили, и разговор принял совершенно другой оборот, более веселый и более общий, как обыкновенно бывает, когда компания несколько подопьет. Яковлев рассказал какой-то чиновничий анекдот не очень-то

нравственного свойства. Комаров с комической торжественностью прочел какую-то глупую оду, сочинения В. Петрова, поэта времен Екатерины, где поэт нападает на султана и восклицает:

*Султан ярится! Ада дочери
В нем фурии раздули гнев, и т. д.*

Всем было весело. Все смеялись. Смеялся даже Лубенецкий. Новые друзья расстались далеко за полночь и в очень приятном настроении духа.

Прощаясь с Лубенецким, Яковлев не забыл, однако ж, спросить, намекая на свое давешнее предложение:

— Ну, что ж?

— Согласен! — ответил лаконически Лубенецкий, дружески пожимая руку сыщика.

— Ловкий ты человек, Федор Андреич, как погляжу я, — произнес сыщик, в свою очередь пожимая его руку.

Оба почему-то рассмеялись после этого.

VII

Провопив гостей, Лубенецкий немедленно же отправился на Арбат, к Грудзинской. Ему

предстояло сообщить ей очень важную новость, поэтому он и торопился.

Яковлев поехал к себе, на Первую Мещанскую, совершенно довольный проведенным вечером. Вследствие согласия Лубенецкого он сильно рассчитывал на успех задуманного предприятия, в котором хорошенькая полька, Груздинская, стояла на первом плане.

Комаров и Верещагин, наняв калибер, поехали вместе на Покровку, к Никите Мученику. Матвей Ильич был необыкновенно весел и поэтому болтал без умолку. Верещагин, напротив, притих что-то.

— Миша, ты чего? — приставал к нему Комаров.

— Так, Матвей Ильич, ничего... спать хочется... — отделялся юноша.

— Ночуй у меня. Надя тебе вот какую постель устроит — королем будешь валяться!

— Нет-с, я домой лучше. Тятенька ждет-с.

Они расстались почти у самой двери комаровского флигелька.

Когда Матвей Ильич в самом приятном расположении духа вошел к себе, то вместо Нади его встретила Анна Степановна, кото-

рая, видимо, была чем-то сильно взволнована.

— А Надя где же? — спросил Матвей Ильич, уставив глаза на взволнованную Анну Степановну.

— Надя-то... — проговорила Анна Степановна и вдруг залилась слезами.

Матвей Ильич шатнулся.

— Надя где? Надя? — почти закричал он, предчувствуя нечто недоброе. В первый раз дочь не встречала его, в первый раз он видел слезы Анны Степановны. Это озадачило его и поразило. Даже хмель начал вдруг проходить.

— Спит... лежит... еле живая... — пролепетала в ответ ему Анна Степановна.

— Что!.. Как!.. Где!.. — забормотал быстро Матвей Ильич и побежал в комнату дочери.

Поразительное зрелище ожидало его там.

Надежда Матвеевна, болезненно разметавшись, лежала на измятой постели. Платье на ней было порвано, грудь расстегнута, волосы раскиданы в беспорядке. При свете образной лампадки и свечи, стоявшей на окне, Матвей Ильич явственно различил, что все лицо дочери горит, глаза наполнены лихорадочным

блеском, рот раскрыт. Дышала она тяжело и прерывисто, точно давил ей кто-нибудь на грудь.

— Надя, милая! — вскрикнул Матвей Ильич задыхаясь, но вместо ответа он услышал какой-то бессвязный, тихий, словно бы в другой комнате раздававшийся бред и тяжелое-тяжелое хрипение.

— Что ж это? — схватился он за голову, решительно не понимая, откуда нагрянула в его дом такая беда.

Убитая горем, Анна Степановна стояла тут же.

— Анна... жена... что ж такое... а? — спросил Матвей Ильич, растерявшись.

— Да что! — тихо плакала Анна Степановна. — Грех попутал.

— Какой грех? — схватил ее за руку Матвей Ильич.

— Вестимо... наш... бабий... дело известное...

Матвей Ильич как стоял, так и застыл на месте. Он понял жену. С минуту он стоял таким образом, не шевелясь, как статуя, потом поднял глаза, огляделся вокруг, медленно по-

тер себе лоб и тихо, как бы даже совершенно спокойно, спросил:

— А кто — не знаешь?

— Вестимо кто...

— Верещагин, да? — прервал ее Матвей Ильич так же спокойно.

— Он самый...

— Я так и знал.

Матвей Ильич снова помолчал.

— Ну, что ж теперь... лечить надо... у нее горячка... бред...

— Вестимо, надоть.

— А еще что надо? — как-то горько-озлобленно спросил Матвей Ильич, помолчав.

— Бог весть...

— Надо убить Верещагина... вот что еще надо... — произнес он тоном непреклонной решимости.

Анна Степановна вытаращила на него глаза.

— Да, убить!.. Убить!.. Убить!.. — вдруг возвысил голос Матвей Ильич и сейчас же пошатнулся, точно толкнутый кем-нибудь, упал перед постелью дочери и зарыдал, зарыдал, как малый ребенок...

VIII

Приехав к Грудзинской, Лубенецкий без околичностей приступил к делу. Он сообщил ей с разукрашениями, что на их светлый горизонт надвигается туча в виде какого-то розыска и что этот розыск находится в руках сыщика. Лубенецкий думал испугать этим сообщением панну, однако ж этого не случилось. Панна нисколько не испугалась. Напротив, она была даже весела и ей нравилось, что Лубенецкий как бы перетрусил, чего, однако, на самом деле не было. Лубенецкий хотел придать только более важности предмету. В конце концов, он сообщил панне, что в этом отношении потребуется ее помощь.

— Какая? — спросила панна.

— Вы должны будете побывать у сыщика.

— О, это хорошо!

— Не совсем.

— Почему так?

— Сыщик препорядочный мерзавец.

Панна подумала.

— Так что ж?

— Не лучше ли вам будет отправиться вместе с панной Эмилией?

Панна снова подумала и решительно сказала:

— Я поеду одна.

В тоне ее голоса было столько-самоуверенности, решимости, что Лубенецкий не находил нужным настаивать на своем предложении.

— Как хотите!.. — проговорил он.

— А в чем дело?

— Нам нужно добыть у сыщика этот розыск.

— Как?

— Панна Антонина, не мне вас учить!

— Стало быть, всякие средства хороши, — проговорила лукаво панна.

— Всякие... — ответил, прикусывая губу, Лубенецкий.

— Ну, хорошо. Я постараюсь. Когда же надо?

— Чем скорей, тем лучше.

— А живет он где?

Лубенецкий дал адрес сыщика.

— Хорошо. Я постараюсь. Только, может быть, у него и нет ничего такого, о чем вы говорите.

— Есть. Я в этом уверен. Да хотя бы и не было, все равно можно узнать кое-что и другое.

— Хорошо. Я постараюсь.

Лубенецкий вскоре уехал. Нехорошо ему как-то было. Он был зол и на себя и на других. Больше всего он злился на то, что панна так охотно согласилась ехать к сыщику. Лубенецкому хотелось бы, чтобы она отказывалась, стыдилась посетить сыщика и потом уже, в крайней необходимости, согласилась. Между тем ему было бы тоже неприятно, если бы она отказалась наотрез. Такова уж логика влюбленных. В эту ночь он до утра пробыл в каком-то трактире, где куролесили купчики. Он как-то познакомился с ними и кутил вместе. Компания полюбила его. Лубенецкий умел рассказывать, умел шутить. Но страннее всего, что он в этой же компании встретил молодого Верещагина, с которым он только что познакомился в своей кофейне. Верещагин, видимо, был чужд компании и попал в нее нечаянно. Он держался как-то особняком.

— Вы как сюда? — спросил у него Лубенецкий.

— Приятели затащили. Ехал домой. Встретились — «не пустим, да и только, валяй с нами!». Что делать, народ безобразный — поехал. А вы?

— От скуки. Не забывайте меня, прошу.

— Весьма рад.

— Безобразно здесь кутят.

— Одры настоящие.

— В Париже не то.

— А вы разве были в Париже?

— Как же! Я там тоже кофейню содержал, будучи еще турком.

— Славный народ французы!

— Вы по чему судите?

— По «ведомостям» иностранным. Люблю их читать.

— У меня несколько иностранных газет. Милости прошу ко мне, во всякое время. Читайте, сколько хотите.

— Воспользуюсь случаем.

— А Наполеон — как по-вашему?

— Божество! Я восхищен!

— А дела-то какие делает?

— Далеко пойдет.

«Молод, неопытен, — подумал Лубенец»

кий, — но может быть хорошим пропагандистам в среде дураков».

— А воззвания Наполеона вам приходилось читать?

— Читал-с.

— И что же?

— Гений.

В это время веселая компания обратила на них внимание.

— Братцы! — закричал один из подгулявших.

— Что? Что? — слышались голоса.

— А ведь Верещагина-то окрестить надо.

— Как так?

— Некрещеный он. наших правил не знает.

Послышался хохот.

— Не знает! Не знает!

— Так окрестим!

— Окрестим! Окрестим!

Верещагина подхватили на руки и, сколько он ни барахтался, вымыли ему голову «ерофеичем», а потом насильно влили в рот три больших стакана того же напитка.

Верещагин осовел. А веселая компания хо-

хотала.

— Славно! Отлично! Любо!

Большой прием алкоголя поражает сразу, но сразу же, минутами, и приводит выпившего в приятное сознание. Это может повториться раз-другой, и потом уже охмелевший теряет сознание и падает как сноп.

Минута хмельного сознания нашла на Верещагина. Ему хотелось смеяться, хотелось рассказать что-нибудь «чудное», и он с циничными подробностями рассказал свою давешнюю встречу с дочкой сочинителя. Это было гадко, мерзко, но вся компания хохотала до упаду и поздравляла Верещагина с успехом. Кто-то вызвался даже намазать ворота комаровского домика дегтем, но это было отклонено, как нечто чисто деревенское, мужицкое, недостойное «именитого» купечества.

Один Лубенецкий не смеялся почему-то. Нравственное чувство его вовсе не было возмущено подобным рассказом и даже поступком, но ему припомнился давешний сон, припомнилась панна Грудзинская. А когда панна занимала его мысли — все остальное отходи-

ло на задний план. Человек грешный, далеко не нравственный, со вкусом, давно уже извращенным кочевой жизнью, Лубенецкий позавидовал Верещагину. Позавидовал его молодости, удаче. Мысль — «отчего же я ничего подобного не могу добиться» — не покидала его.

Веселая компания разбрелась только перед утром. Лубенецкий уехал к себе в странном озлоблении. Вместо рассеяния скука еще более одолевала его. Верещагин с больной от хмеля головой отправился в Покровский погребок, где и завалился у сидельца Жука спать.

IX

Комаров Матвей Ильич целую ночь просидел над постелью дочери. Дочь металась, стояла, бредила. Приезжал доктор, покачал головой и присоветовал кое-что.

— Что с ней? — спросил убитый горем Матвей Ильич.

Доктор был человек прямой. Объявив причину болезни и саму болезнь, он сказал:

— Приготовьтесь.

Комаров не понял его.

К утру больная заснула. Пользуясь этим, обезумевший Матвей Ильич решил повидать Верещагина, для чего повидать, он не знал, но ему хотелось повидать, и только. Он кинулся на Николоямскую, где жили Верещагины. Там его не оказалось. «Не ночевал дома», — сказал кто-то из домашних. Матвей Ильич отправился в покровский погребок.

По обыкновению, его встретил там Жук, торчавший за стойкой.

— А, Матвею Ильичу! — приветствовал он автора. Матвей Ильич не обратил на его приветствие внимания.

— Мишутка тут? — спросил он.

— Как же, тут-с. Спит без задних ног. Нонче на зорьке вона какие приехали, беда! — и Жук рассмеялся.

— Где же спит?

— Да у меня в каморке-с, милости просим. Велел разбудить — не добудишься, бревно бревном. Может, вы как ни на есть растолкаете.

Матвей Ильич помолчал. Страшная буря кипела в груди его.

— Да что вы такой нонче несуразный? —

спросил Жук, с удивлением поглядывая на расстроенного Матвея Ильича.

— Ничего, так себе. Налей-ка мне, голубчик, кружечку пеннику.

Жук налил. Матвей Ильич, не переводя духу, осушил ее.

— Ого! Как вы нонче! — удивился Жук.

— Голова болит, — сказал бессознательно Матвей Ильич и точно в тумане каком-то направился в каморку Жука.

— Растолкайте, пожалуйста, — сказал ему вслед Жук. — А то, чего доброго, тятенька приедут-с.

Матвей Ильич вошел в каморку, и первое, что попало ему на глаза, это — спящий на постели Жука Верещагин. Молодой человек растянулся во всю длину своего тела. Лицо его было красно. Он дышал тяжело и медленно. Матвей Ильич остановился у двери, потом подвинулся немного далее. Что-то тяжелое залегло у него под сердцем. Ему было страшно, и вместе с тем он не боялся ничего. В каморке было не особенно светло; два маленьких оконца довольно скупно пропускали в нее свет со двора. Повсюду валялся какой-то хлам. Ма-

ленький столик стоял в углу. На столике лежали книги. Машинально как-то Матвей Ильич взглянул на них. Первое место между ними занимал «Английский милорд». Комаров сразу узнал свое детище. Много раз в руках держал он эту толстененькую в кожаном переплете книжечку. Она была настольной книгой сидельца. Матвей Ильич никогда не ценил своих произведений. В этот же раз «Милорд» показался ему просто отвратительным. Смутная догадка: «Не я ли сам причиной всего того, что случилось» — промелькнула в нем. «Да, да, я сам! Конечно, это все книги!» Мысль эта сейчас же улетучилась из его головы. Внимание его обратил Верещагин: спросонья он начал бредить. «А, вот он!» — процедил сквозь зубы Матвей Ильич, как будто он до того не замечал Верещагина. «Кончай же, кончай! — точно шепнул ему кто-то на ухо, — после поздно будет». Матвей Ильич ощупал карман и вздрогнул. В кармане он почувствовал что-то твердое и припомнил, что это нож. «На что я взял его? Убить? Так что ж, убивай — теперь самое удобное время. Он спит и не способен защищаться. Шарахни ножом —

и конец делу, и не встанет, и не вскрикнет. А если и закричит — что за беда... все равно... Ведь он же убил человека, еще хуже, чем убил, — он обесчестил на всю жизнь, украл то, что ни один в жизни человек возвратить не может... Кончай же, кончай, скорее кончай!» Быстрее чем молния пробежали эти мысли в голове Матвея Ильича. Бессознательно он подвинулся к постели Верещагина. Верещагин уже не бредил. Закинув голову назад, он дышал тише, спокойнее. Время было самое удобное: шея молодого человека совершенно была обнажена. «Шарахни, шарахни!» — твердил кто-то Матвею Ильичу, и он чувствовал, что холодный пот выступает у него на лбу. Сердце билось тише и ныло, ныло так, как ноет оно, когда человек во сне поднимается на неизмеримую высоту и убежден, что вот-вот упадет он и разобьется вдребезги. Уже совершенно бессознательно, дрожа как в лихорадке, Матвей Ильич вытащил из кармана нож. Лезвие ножа сверкнуло в его глазах и рассыпалось в какие-то тонкие и длинные полосы, которые закружились, замелькали разноцветными огнями и потом

постепенно превратились в какой-то туман, который начал надвигаться на глаза Матвея Ильича. Он ничего не видел: все смешалось в его глазах — и хлам, и стол, и книги, и стены. Только одна голова Верещагина как-то рельефно выделялась из всего этого тумана. Матвей Ильич нагнулся к ней, став одним коленом на низкую постель, и занес над Верещагиным нож...

Х

В то утро Яковлев напрасно ждал Матвея Ильича. Матвей Ильич не приходил. Сыщик сам начал составлять розыск-доклад. Дело как-то не клеилось. Плохой он был писака. С докладом он провозился до вечера. Вечером он приказал заложить экипажец с целью захватить к Матвею Ильичу. Вдруг вошел Третий Захарыч.

— Ты чего?

Третий Захарыч осклабился.

— Ну?

— Сударушка к вам-с.

Яковлев нахмурил брови, как бы желая припомнить, кто такой навестил его и какое к нему имеет дело.

— Подождать прикажете?

— А какая она?

— На своих лошадях приехала.

— Какова собой?

— Малина!

— Зови поскорей, дурак!

Тертий Захарыч выбежал.

«Должно быть, которая-нибудь из них», — подумал Яковлев.

Через минуту, одетая в свой национальный костюм, вошла Грудзинская.

Яковлев просветлел.

«Молодец; жидовская образина!» — мысленно похвалил он Лубенецкого.

— А, вы! — встретил он панну Грудзинскую.

— Не ожидали! — весело проговорила панна.

— Ну, конечно...

— Я такая... мне все равно... я ничего не боюсь...

— Весьма радуюсь. Садитесь.

Грудзинская прошла и села. Яковлев не садился.

— А вы что же? Садитесь и вы.

— Насиделся.

— У нас в Польше так не делают.

— Как?

— Если дама просит кавалера сесть — кавалер — не имеет права отказываться.

— У нас свои порядки, сударыня.

Панна помолчала.

— Что это такое: «сударыня»? — спросила она.

— А, право, не знаю. У нас говорят так, говорю и я. Кажется, что-то вроде мадмазели.

— Какой грубый язык!

— Чем богаты, тем и рады, сударыня!

— Послушайте, вы не называйте меня сударыней, мне не нравится так.

«Фу, какая она сдобненькая и разбитная!» — подумал Яковлев и проговорил:

— С удовольствием, не буду говорить...

— А как же вы будете называть меня?

— Уж и не знаю.

— Называйте Антосей.

— Извольте.

— А вот подруга моя Эмилия, так та не любит, чтобы ее называли Эмилией. Вы видели ее?

— Видел.

— Нравится она вам?

— Не совсем.

— А кто же вам нравится?

Яковлев был человек без стеснения, а тем более — при подобных обстоятельствах. Он прямо брякнул:

— Вы мне нравитесь.

Панну несколько не удивило это. Она, казалось, ожидала подобного ответа. Она только повела бровью, сделала маленькую гримаску и проговорила:

— Да?

— Да! — было ответом.

— И вы со всеми женщинами объясняетесь так?

— Я их мало знал, Антося, если позволите так называть себя.

— А сколько?

Яковлев сделал гримасу. Вопрос был слишком странен и щекотлив. Он не нашелся, что сказать на него. Он только многозначительно промычал:

— Гм...

— Я не понимаю такого разговора, — про-

говорила панна, быстро вставая и подходя к столу. — А это что у вас? — взялась она за бумаги.

— Бумаги кое-какие... — ответил Яковлев, ловко отодвинув их в сторону.

— А! — протянула панна, не заметив выходы сыщика. Она огляделась.

— А вы хорошо живете, как вижу.

— Слава Богу, Господь кое-что посылает.

— Посылает... А вы не сами берете?

— Все по Божьей воле...

— Оно и видно... А скажите, куда вы подевали те деньги, которые взяли у Метивье?

«Эге, куда она закидывает!» — подумал Яковлев и ради шутки сказал:

— Проел.

— То-то вы такой толстый.

— А вы толстых не любите?

— Мне все равно... Я люблю всех...

— И меня? — брякнул Яковлев.

— И вас...

— Гм...

— А вы знаете, зачем я к вам приехала?

— Не знаю.

— Ну, и я не знаю. Впрочем, знаю: пан Лу-

бенецкий просил меня выручить у вас какой-то розыск об агентах Наполеона. Есть у вас такой розыск?

— Есть.

— Вы мне дадите его?

— Нет, не дам.

— Ну, так прощайте.

Панна порхнула к двери. Опытность сыщика изменила ему.

— Постойте! — закричал он.

Панна остановилась.

— Что вам?

— Подождите.

— Хорошо... я подожду... послушаю, что вы мне скажете...

Яковлев весьма неловко запер дверь на замок. Грузинская хорошо видела это, но промолчала.

— Так это единственная цель вашего приезда? — спросил сыщик, чувствуя, что он поддается хорошенькой польке.

— Совсем нет.

— Так на что же вам розыск?

— А вы что, дорожитесь им? Ведь дрянь какая-нибудь, пустейший вздор. Удивляюсь па-

ну Лубенецкому, на что он ему?

— Пан не глуп, он знает, где раки зимуют.

— Да я-то не хочу их знать.

— Это вещь дорогая.

— Для вас — да, но для меня — нет.

— Так не спрашивайте о нем.

— Отчего ж бы и не спросить! Ведь я возьму его.

— В таком случае и я возьму кое-что...

— Что, например?

— Садитесь, — проговорил Яковлев каким-то особенным тоном. Дикий огонек за-сверкал в его глазах. Панна, заметила это.

Она не садилась, но смотрела по сторонам. Замкнутая дверь сказала ей многое. Дикий огонек в глазах сыщика — тоже. Она предвидела «нечто», но не боялась ничего. Не боязнь, а любопытство мучило ее: что сделает сыщик? Нечто он решится?

Сыщик покуда ни на что не решался. В шагах пяти от панны Грудзинской он сел на старое кресло и уставил на нее свои глаза.

— Что смотрите, нравлюсь я вам? — точно заигрывала с ним панна.

— Вы хорошая девушка... — не то с гру-

стью, не то с затаенным участием проговорил Яковлев.

— В каком отношении? — спросила панна.

— Во всех отношениях.

— Я от первого вас слышу это. За красоту хвалили меня многие, но за нрав — никто.

— А я хвалю вас и за нрав. Вы девушка прямая и правдивая.

Грудзинская неподдельно рассмеялась.

— Я только с вами такая. С другими я горда, неприступна и заносчива.

— Что же я за счастливец такой?

— Я люблю смелых людей.

— А знаете ли вы, что мной, как уродом и мерзавцем, пугают в Москве детей?

— Слышала. Но поэтому-то вы мне и понравились; Я люблю одно что-нибудь: богов или уродов. Вы урод — и я обратила на вас внимание.

— Но что ж из этого выйдет?

— А зачем вы заперли дверь?

— Войти кто-нибудь может.

— А не выйти?

Яковлев встал. Глаза его налились кровью. Он дышал тяжело и громко.

— Что с вами? — спросила паяна.

Яковлев молчал и не трогался с места. Видимо, какая-то мысль поразила его.

А Грудзинская в это время повернулась к сыщику спиной, обратив внимание на какую-то безделушку.

Вдруг Яковлев шагнул к ней. Девушка быстро обернулась.

— Вам чего?

— Я вас не выпущу отсюда... — прошептал он с усилием. Панна выпрямилась.

— Какой же вы смешной, как погляжу! Захочу уйду, захочу — нет.

— Так не уходите. Я — я требую!

— А если уйду? — подняла головку панна.

Яковлев молчал. Девушка стояла прямо перед ним и так близко, что он слышал даже ее дыхание, видел, как поднимается ее грудь, как сверкает ее белая, зарумянившаяся шея, обвитая тремя нитками мелких жемчужин. Видел ее легкую, грациозную фигуру, видел глаза ее, подернутые блистающей влагой, видел тяжелые пряди волос. Обворожительно хороша была в ту минуту молоденькая полька, и грубый сыщик не настолько был нрав-

ственно развит, чтобы подобная красота, как красота Грудзинской, не подействовала разжигающим образом на его избалованную чувственность. Он обезумел перед этой, невиданной им еще красотой, красотой легкой и очаровательной до какого-то внутреннего страдания, боли.

Есть женщины и в самом деле производящие душевную боль. При взгляде на них вас вдруг охватывает какая-то глубокая грусть, бесконечное одиночество. В один миг сливается вся ваша жизнь и проносятся картины вашего прошлого. Вам делается досадно на кого-то и на что-то, в сердце закрадывается зависть, зависть гнетущая, едкая, а душа ноет-ноет, как перед преступлением. И долго потом вы не забываете этих женщин. В минуту шумной оргии, в минуту тоскливого одиночества они как-то невольно припоминаются вам, припоминаются как дивные сновидения, и кажется вам, что такая женщина в один миг разогнала бы ваше уныние и сделала бы вас счастливым навсегда. Но ее нет, она исчезла... Где она? — спрашивает сердце ваше... кто тот счастливец, которому она принесла в

жертву свою несказанную красоту?.. И опять зависть, и опять грусть...

Антонина Грудзинская производила именно такое впечатление.

Обезумевший Яковлев стоял и молчал перед ней. Он уже не помнил ничего. Коленки его дрожали, в груди сперло дыхание. Миг один — и мускулистые руки его обхват стан красавицы.

— Прочь! — вдруг взвизгнула девушка и точно змея выскользнула из его рук, очутившись на противоположной стороне комнаты.

Яковлев, пораженный непонятной для него быстротой, остался на месте. Он стоял таким образом с минуту. Панна в это время проворно озиралась. Видимо, она искала чего-нибудь, чем бы можно было отразить нападение сыщика. Девушка была замечательно смела. Она не испугалась сыщика, но сердце ее с болью сжималось, губы дрожали, лицо покрылось бледностью, а глаза засверкали как, огонек. Яковлев, бессознательно заметил все это, и девушка показалась ему еще прекраснее.

— Нет, ты не уйдешь от меня! — проговорил он и сделал движение.

— Не подходи! — процедила панна сквозь зубы. — Я знаю, чего ты хочешь, но этого не можно, пан!

Яковлев шагнул еще.

— Не подходи! — снова глухо пробормотала она, — или я... задушу тебя, как пса негодного!

— Ты задушишь! — искривил губы Яковлев и шагнул.

Девушка вздрогнула. Слова не действовали. Надо было защищаться иначе. Она хотела защищаться и в то же время не хотела. Панна вовсе не дорожила собой, по крайней мере, в отношении к Яковлеву. Этот урод положительно нравился ей, а этого было достаточно, чтобы она беззаветно отдалась ему, но — странно — ей не нравился грубый прием сыщика, не нравилась эта дерзость, наглость, не геройская наглость-дерзость, а какая-то пошлая, неприятная. Он даже не сказал ей слова любезного, слова, которое бы хоть насколько дышало истинной, могучей страстью. О, поступи он так — девушка, может быть, первая подала бы ему руку. Но он не поступил так. Он был груб, нелеп, скотством ды-

шала вся его фигура, и девушка не могла простить этого. Урод стал для нее не уродом. Урод изменил себе и вследствие этого в глазах ее потерял несколько ту привлекательность, которая поразила избалованное воображение девушки.

Не переставая оглядываться, Грудзинская вдруг в двух шагах от себя увидела маленький столик и на нем лежащий пистолет. В мгновение ока пистолет очутился в ее руках.

— Не троньте... он заряжен... — пробормотал Яковлев, стоя шагах в пяти от Грудзинской.

— Ото добже! — закинула панна голову и подняла пистолет по направлению к сыщику. Сыщик прирос к месту и посмотрел на девушку с каким-то диким недоумением.

— Не подходи теперь! — крикнула она. — Подойдешь — убью!

Яковлев точно не понял этих слов. В голове его не переставала бродить дикая решимость. Страстно-воспаленный взгляд его так и пожирал девушку. Все было забыто, все бессознательно решено было принести в жертву одной минуте наслаждения. Пистолет торчал

перед ним в упор. Сыщик знал, что пистолет был заряжен, смутно верил в то, что девушка может выстрелить в него, но почему-то не допускал, что она убьет его. А в это время девушка стояла, как бы измеряя сыщика взглядом, стояла, смотрела, выжидая малейшего движения с его стороны, и держала пистолет наготове. Сыщик не выдержал, наконец, глаза его сверкнули кровавым блеском, он шагнул еще к девушке и — замер на месте. Слух его был поражен треском выстрела, в глазах зарыбило, а на правом плече почувствовалась горячая влага.

«Кровь, — подумал он мгновенно, — ранила...» — и сознание как-то сразу начало возвращаться к нему, как-то сразу сыщик начал делаться тем, чем он был во всякое время.

Гавриил Яковлев был далеко не трус. Смерть не особенно-то пугала его, но если что-либо испугало его в этом случае, так это то, что он мог умереть без исповеди и причастия. Он был по-своему истинным христианином.

— Так вот вы как!.. — произнес он, когда несколько успокоился от охватившей его

сперва тягости смертного страха... — Вот как!.. Ловко же вы царапаетесь, кошечка варшавская! Ловко! Ладно же... я это вам припомню когда-нибудь... припомню непременно...

За дверью послышался стук.

— Третий Захарыч, ты? — спросил спокойно Яковлев.

Третий подал голос.

— Успокойся, — сказал сыщик, — это я показывал панне, как стреляют из пистолета...

А панна в это время стояла точно мертвая. Она сама испугалась выстрела и не понимала, что она такое сделала...

XI

Странное пробуждение ожидало Верещагина в Покровском погребке.

Матвей Ильич, занесший над спавшим Верещагиным нож, готов уже был поразить жертву своего озлобления, как вдруг рука его дрогнула, в глазах помутилось и тяжелый нож упал на пол. Честный человек не мог решиться на убийство.

Верещагин от стука проснулся, проснулся и оттого, что почувствовал на себе тяжесть чьего-то тела. На нем, поперек, лежал обезу-

мевший Матвей Ильич. Молодой человек вскрикнул от испуга и быстро вскочил, опрокинув Матвея Ильича. Матвей Ильич упал возле постели и застонал от боли. На крик Верещагина вбежал сиделец Жук. Ни Верещагин, ни Жук не понимали, в чем дело. Спросонья и от охмеления, не успевшего еще выветриться из головы, Верещагин широко таращил глаза и ежился. Лежащий Матвей Ильич пугал его.

— Матвей Ильич, батюшка! Что вы растянулись-то? — обратился Жук прежде всего внимание на Комарова.

Комаров не шевелился.

— Да жив ли он?

Жук тронул Матвея Ильича.

Матвей Ильич что-то пробормотал и обернулся, полуоборотом, к сидельцу лицом. Сиделец всплеснул руками.

— Матвей Ильич, батюшка! Да на вас лица нет!

Матвей Ильич действительно был бледен как полотно.

Губы его дрожали, а глаза, точно налившиеся оловом, как-то странно и сосредоточенно

блуждали по сторонам; в них можно было прочесть боязнь, вынужденную покорность и ненависть. Однако Матвей Ильич как-то тихо и кротко улыбался, но улыбка эта не была сосредоточена на одной какой-либо части лица, нет — она как бы разливалась по всему лицу и, кроме того, бродила там где-то, в крови, под кожей, а не на самом собственно лице. Что-то деревянное и холодное чувствовалось в ней. Обыкновенного у Матвея Ильича, доброго, простоватого выражения точно не бывало. Матвей Ильич вдруг стал похож на больного, дряхлого, истомленного и злого старика. На лбу его виднелся пот, волосы ерошились в беспорядке.

После слов сидельца Матвей Ильич тихо приподнялся.

— Да что с вами, батюшка? — допытывался Жук.

— Упал... вот и все... — тихо произнес Матвей Ильич, ни к кому особенно не обращаясь...

— Эх, вы! — должно, пенничек-то не свой брат!

— Не свой, не свой... — бормотал Комаров.

— Перевалили?

— Перевалил, брат, перевалил...

— Да вот еще Михаил Николаича испугали.

Комаров поднял голову.

— Где он?

— Эге, да в глазах-то у вас, должно, сам черт пляску заводит! — засмеялся Жук. — Вот он, батюшка... вон Михаил Николаич. Стоит, смотрит на вас. Аль не узнали?

— Забыл... — и Матвей Ильич взялся за голову, точно припоминая что-нибудь. — Я давно не видал его. Экой он чудак! Ходит-ходит, и вдруг — как будто не бывало. Все вы таковы, купеческие сынки, все! Я вас давно голубчиков знаю. Ну, да это вам даром не пройдет. Придет перевод и на вас.

— Эва, понес какую околесную! — мотнул головой сиделец. — Прилягте-ка, Матвей Ильич, лучше будет. Отдохните — все как рукой сымет.

Во все это время Верещагин стоял и смотрел на Матвея Ильича. Молодой человек приходил в себя, и страшная догадка при виде вставшегося у постели ножа Комарова мелькну-

ла в голове Верещагина. «Он хотел убить меня, — думал он, — я это вижу». Сердце Верещагина сжалось. Ему стало страшно и за себя, и за Комарова.

— Жук, поди к себе в погребок, — проговорил взволнованным голосом Верещагин, когда сиделец окончил свою речь. — Я сам уложу спать Матвея Ильича.

Жук вышел. Верещагин быстро подошел к Матвею Ильичу.

— Матвей Ильич, я знаю, зачем вы здесь...

Матвей Ильич стоял, молчал и даже как будто не замечал присутствия Верещагина.

— Простите меня, Матвей Ильич... — продолжал молодой человек умоляющим голосом, как бы торопясь высказать все, накипевшее в душе. — Сам не знаю, что со мной сделалось... Угорел я... У меня и теперь голова кругом идет... вчера напоили... третьего дня — тоже пьян был... А все-таки я сознаю свою подлость против Надежды Матвеевны... Но ведь это, Матвей Ильич, дело поправимое... Я не подлец какой-нибудь... Я готов в законный брак... как вам будет угодно... А что касается того, что вот вы теперь с ножом сюда

пришли и, может, убить меня хотели, то я не доносчик какой-нибудь, не сыщик — предьявлять в суде не стану... — Он поднял нож и сунул его за голенище сапога. — Что мне!.. Я человек, а не зверь и очень хорошо понимаю, что вам это горько... Эх, Матвей Ильич, Матвей Ильич! — произнес чуть ли не со слезами Верещагин, — все мы люди, и все под Богом ходим... Простите меня, голубчик...

— Нет тебе от меня прощенья! — очнувшись, глухо проговорил Матвей Ильич, точно актер на сцене, и, пошатываясь, направился к двери.

Верещагин не трогался с места.

XII

Весь этот день и на другой день до позднего вечера Матвей Ильич таскался по кабакам московским и пил все, что только можно было пить. Домой он и не заглядывал, словно бы дома у него и не существовало. Он даже забыл и про тяжкую болезнь дочери. Все — и дом, и жена, и любимая дочь — как-то потерялись им или представлялись каким-то сновидением, явственным, но давно известным и поэтому не имеющим особенного значения.

Минутами Комарову чудилось, что он не живет, а точно заснул и видит какой-то странный сон, бесконечно длинный, бесконечно утомительный. Минутами же ему грезилось, что какой-то густой туман охватил его и не позволяет видеть окружающего. Факты и слова путались. Что совершилось давно, то казалось совершившимся только что, а что совершалось, то казалось давно совершившимся и уже забытым, но только теперь припоминаемым. Иногда Матвею Ильичу казалось это несколько неестественным, и он довольно дельно разъяснял подобное явление в его умевлиянием пенника, который он пил с жадностью человека, пьющего воду в пустыне.

С виду, однако, Матвей Ильич не особенно изменился. Знакомые при встрече с ним замечали только сильную бледность лица его и тусклый цвет глаз. Говорил он дельно и держал себя, по обыкновению, весело и развязно, только иногда вдруг задумывался или начинал говорить что-то бестолковое о купеческих сынках.

Попал он домой на другой день к вечеру совершенно случайно. Кто-то навязался побы-

вать у него и притащил его почти что насильно к Никите Мученику.

Матвей Ильич точно не узнал своего флигелька: он вошел в него, как входил в дома своих знакомых.

Необыкновенная тишина царствовала во флигельке. Эта тишина несколько озадачила Матвея Ильича, привыкшего к шуму погребков и кабаков, по которым он таскался два последние дня сряду. Но потом он освоился с ней и снова впал в свое бессознательно-равнодушное состояние. Состояние это не нарушалось и тогда, когда Матвей Ильич увидал на столе лежащий труп дочери.

Надежда Матвеевна умерла в ночь.

В тот день, когда Матвей Ильич отправился отыскивать Верещагина, ей сделалось хуже: припадки увеличились, бред сделался диким и томительным. Бедная девушка металась на постели, стонала и в бреду посылала на чью-то голову ужасное проклятие. Обезумевшая от горя Анна Степановна призывала священника, но это было уже напрасно. Надя не в состоянии была исповедоваться и причаститься. Припадки ее были страшны и беше-

ны. Священник ушел. После этого ей становилось хуже, хуже и с наступлением полуночи бедной девушки не стало.

Когда явился отец, дочь уже лежала в гробу, недвижимая, холодная, с застывшими на молодом лице судорогами последних страданий. Кто-то на голову ее надел венок из свежих осенних цветов, которые начинали уже увядать. В головах горели две свечи, обернутые черными лентами, а вокруг, в комнате, свежо и сильно пахло воском, ладаном и можжевельником. Кто-то читал над покойницей.

Матвей Ильич подошел к трупу дочери, поднял покрывало, посмотрел, как бы что-то подумал, и снова закрыл труп бережно, с каким-то особенным благоговением. После этого он походил несколько, как бы в глубоком раздумье, а потом улегся спать прямо на голом полу в углу той комнаты, где лежала дочь.

Тупо и бессмысленно смотрела на все это Анна Степановна и тоже не проронила ни одного слова. Горе ее было так глубоко, что и на нее напало что-то вроде столбняка.

На другой день назначены были похороны Надежды Матвеевны. С утра Надю унесли в церковь.

Холодно и безучастно Матвей Ильич слушал панихиду, холодно и безучастно смотрел на собравшихся знакомых и так же холодно простился с дочерью и провожал ее на кладбище. Из всего виденного и слышанного в душе Матвея Ильича только и запечатлелись, и то как-то дико и неестественно, звук гвоздей заколачиваемого гроба да «Упокой, Господи», читанное священником.

С кладбища Матвей Ильич скрылся неизвестно куда. Никто не видал, когда он ушел и куда. Напрасно Анна Степановна ожидала его в тот день. Матвей Ильич не пришел, и не только не пришел в тот день, но и никогда уже более не возвращался в свой любимый флигелек, где он прожил двадцать лет спокойно и счастливо

XIII

С нетерпением ждал Лубенецкий возвращения Грудзинской от Яковлева.

Грудзинская наконец возвратилась.

— Что? Как? — встретил ее Лубенецкий.

Панна ничего не сказала и прямо отправилась в свой комнату. Видимо, она была сильно расстроена. Лубенецкий заметил это и оставил ее в покое. Он сразу увидел, что поездка ее ни к чему не привела, а если и привела, то к чему-то весьма неладному. Это его озадачило. Тем не менее он уехал к себе домой, ничего не зная и даже не стараясь особенно узнать. В кофейне он застал Верещагина. Молодой человек, узнав о смерти Надежды Матвеевны, пришел в неописанное изумление и страх. Чувствуя, что именно он, а не кто-нибудь другой виновен в смерти несчастной девушки, и смутно предугадывая, что Комаров не может простить ему позора и смерти дочери, Верещагин предался необыкновенному унынию, тем более что все это совершилось так глупо, так неожиданно для него. Чтобы рассеяться как-нибудь, он отправился в кофейню Федора Андреева. В свои погребки он не хотел заглядывать: он боялся встретить там Матвея Ильича, который как-то странно запечатлелся в его памяти. Он не забыл блуждающего взгляда Комарова, ножа и последних его слов: «Нет тебе прощенья от меня». Все это

как-то веско и назойливо засело в памяти Верещагина и не то пугало, не то преследовало его, где бы он ни был.

Встретив Лубенецкого, он несколько забылся.

Лубенецкий, сам занятый своими мыслями относительно Грудзинской, был, однако, наружно весел, беспечен и способен был своей болтовней развлечь хоть кого. Он рассказал юноше несколько веселеньких и соблазнительных анекдотов из своей стамбульской жизни, приласкал его и незаметно свернул речь на дела Наполеона в Европе. Собственно говоря, у Лубенецкого вовсе не было желания, по крайней мере в то время, навязывать почти незнакомому юноше своих воззрений на политические дела, — Грудзинская и Яковлев слишком занимали его, — но это совершилось у него как-то машинально, по привычке. Лубенецкий слишком вошел в свою роль, чтобы не ловить случаев на лету. Воззрениями Лубенецкого Верещагин остался доволен, и ему как-то, захотелось поближе сойтись с таким умным содержателем кофейни, мало того — Лубенецкий просто очаровал его своим

обращением, исполненным мягкого благородства и человечности. При этом Верещагин заметил, что Лубенецкий далеко не стамбульский брадобрей. «Не паша ли он какой-нибудь, получивший образование в Париже, но по некоторым обстоятельствам скрывающий свое настоящее звание», — подумал юноша, и воображение его быстро нарисовало какую-то романтическую картину, в которой первую роль занимал Лубенецкий, известный ему под именем турка Федора Андреева. Поддельный турок между тем продолжал быть веселым и предупредительным. Входили гости. Он встречал каждого любезно, ухаживал и снова возвращался к Верещагину. Молодому человеку льстило это. Далеко за полночь они расстались.

Вечер этот, проведенный в кофейне, точно освежил молодого человека. Он возвращался домой веселее обыкновенного и с этого вечера уже считал своей неременной обязанностью посещать каждодневно Федора Андреева. Несколько подобных посещений совершенно сблизили Лубенецкого и Верещагина, так что в одно время Лубенецкий напрямки,

как бы, однако ж, шутя, заметил:

— Глупы русские.

— Почему так? — спросил Верещагин.

— Да не понимают, как бы им хорошо было под правлением Наполеона.

Верещагин изумился.

— А разве это возможно?

— Конечно. Стоит только распускать в публике великие речи Наполеона. Публика это поймет и ясно увидит, что Наполеон только и заботится о том; чтобы все пользовались свободой, как пользуется ею Франция.

— А где же эти речи Наполеона?

— Как где? В иностранных газетах. Можете у меня сколько угодно читать.

— И не запрещают?

— Кто же запретит! Никому до этого дела нет. Ведь он не с русскими говорит, а с итальянцами, например, баварцами, египтянами. А между тем в них проводится общечеловеческая мысль равенства. Народ не настолько глуп, чтобы не понять этого и не оценить. Да, наконец, в распускании речей Наполеона и опасного ничего нет. Вся суть только в том, чтобы переводить их с французского на рус-

ский язык. По-французски в России только м читают одни помещики. А им что, им и так хорошо живется. Вот для простого-то народа и надобно переводить великие речи императора.

— Что же вы сами-то не переводите? — спросил Верещагин, которого сильно заинтересовало все сказанное Лубенецким.

— Не могу, французского языка не знаю хорошо, да, кроме того, и по-русски-то изложу не так, как следует. Нет-нет да и вставлю турецкое словцо.

— А вы, однако ж, по-русски хорошо говорите, — заметил Верещагин, смутно как-то предугадывая нечто не особенно прямое в словах Лубенецкого. — Даже, пожалуй, лучше другого русского. Мне кажется, живши в Париже, могли бы так же хорошо и по-французски выучиться.

— Говорить, но не писать, — промолвил Лубенецкий. — Заметьте это.

— Да, да, правда ваша, — искренне согласился Верещагин.

Разговор этот, происшедший как-то мимоходом, невзначай, произвел на Верещагина

сильное впечатление. Как тонкий плут, Лубенецкий никогда не позволял себе в подобных случаях делать подготовок и много распространяться. Он говорил коротко, ясно и сейчас же переводил разговор на другую, совершенно пустую тему, оставляя, таким образом, в душе слушателя рельефное впечатление. Такой, по-видимому, не особенно мудрый маневр давал, однако ж, галицкому жиду блестящие результаты. Так он сошелся с Грудзинской, так он увертывался от преследований Яковлева, так, наконец, между прочим, попался на его удочку и юноша.

Действительно, с этого времени для Верещагина Лубенецкий сделался чем-то вроде оракула. Молодой, неопытный, с огоньком в душе, Верещагин не мог не подчиниться влиянию опытного плута, который с ловкостью пловца умел поворачивать ладью по своему произволу. Каждый день все более и более ставил юношу в подчиненное положение к Лубенецкому, который, однако, не злоупотреблял своим влиянием. Напротив, он даже как будто благоговел, перед бодрым умом Верещагина и старался распалить в душе его

чувство честолюбия. Крупное зерно упало на жирную почву. Верещагин угорел, и ему уже представлялись целые картины того положения, когда он, как народный агитатор, станет выше других и, быть может, сделается тем же, чем сделался польский герой Костюшко, о котором ему весьма часто говаривал Лубенецкий. Душа молодого человека встрепенулась и жаждала деятельности. Лубенецкий, разумеется, смеялся над увлечением юноши, так как ничего особенного он от него не ожидал, да и надобности не было, кроме только того, чтобы он переводил речи Наполеона и, насколько возможно, распускал их в публике. Две речи уже были переведены. Лубенецкий взял их к себе и переслал куда-то, не доверяя еще молодому человеку.

Все это совершилось в течение каких-нибудь двух недель. Верещагин и сам даже почти не заметил, что он попал в совершенно новое положение. Оно было для него так ново, так занимательно, так льстило самолюбию, что начало казаться ему совершенно естественным и ему одному свойственным. Надежда Матвеевна и Комаров были совер-

шенно забыты. Знакомство с домом автора «Милорда» казалось ему каким-то сновидением. Он даже смеялся над тем, что он когда-то позволил себе испугаться старика автора. Он положительно начинал чувствовать себя героем.

Частые посещения Верещагиным кофейни не ускользнули от внимания Яковлева. Сыщик раза два затаскивал к себе юношу и тоже давал кое-что переводить с французского языка, исподволь расспрашивая о Лубенецком. Сверх всякого ожидания Верещагин вел себя в этом отношении истинным героем. Сыщик относительно содержателя кофейни не добился от него ни единого слова. Молодой человек под влиянием Лубенецкого уже умел разбираться, откуда опасный ветер дует. Сыщик плюнул и решил, что Верещагин дурак и таскается в кофейню зря. Кроме того, со дня неудачного посещения квартиры сыщика панной Грудзинской сыщик как-то охладел к преследованию Лубенецкого, хотя и сильно озлился на него, по каким-то данным предполагая, что именно Лубенецкий был причиной поступка панны. Выстрел из слабой руки

женщины заставил увлекшегося своим делом сыщика оглянуться на себя и несколько осесть. Смутно почувствовал российский пройдоха, что он не на «тех» наскочил и что всякому делу есть граница. Поступок хорошенькой польки настолько подействовал на него отрезвляющим образом, что он махнул даже рукой на составление розысков об агентах Наполеона. «Черт с ними! — решил сыщик, — из-за чего я распинаюсь! Ведь мне не поручали этого дела! Для меня и того достаточно, что я, когда мне понадобится, могу обирать их как липок!» Вследствие этого решения он с озлоблением накинулся на Метивье, как на более денежного агента, взял у него крупную сумму и обещался не выдавать правительству. Струсивший и прекративший пересылку своих писем в Париж Метивье решил при удобном случае, удрать из Москвы.

Яковлев таким же образом задумал обобрать и Лубенецкого. Но он ошибся в своих расчетах. Лубенецкий так ловко и так любезно отклонил требование сыщика, что тому ничего больше не оставалось, как плюнуть, пригрозить и сказать:

— Ну, уж такого жиды, как ты, я, ей-Богу, во всю свою жизнь не видывал!

— И не увидишь! — засмеялся Лубенецкий, потчывая его наедине «ерофеичем». — И говорю тебе откровенно; Гавриил Яковлевич, — продолжал он, — что ты совершенно напрасно изощряешься надо мной. Правда, я сначала несколько опасался тебя, потом мне нужен был твой розыск, для моих личных целей. Ты его не составил — и поэтому потерял для меня всякое значение. Но из этого ты не заключаешь, чтобы я не уважал тебя, как умного человека. Я глубоко уважаю тебя. Настолько уважаю, — улыбнулся он странно, — что даже послал к тебе панну Грудзинскую. Не мое дело, что ты не сошелся с ней. А что мне присылка эта недешево стоила, ты можешь заключить из того, что я сильно ее люблю...

— Вот как! — удивился Яковлев. — А я, признаюсь, только предполагал это... Ну, и что ж?

— Ничего особенного. Я только думаю, брат, что она когда-нибудь и мне, как тебе, вместо поцелуя пошлет пулю в лоб.

— Так что ж ей, по-твоему, и в зубы смот-

реть за это? — озлился Яковлев, припомнив свое глупое и опасное положение.

— Будешь смотреть, когда хороша.

Яковлев промычал что-то и выпил. Отдаленное, еле уловимое чувство ревности шевельнулось в нем. Чудная красота Грузинской рельефно отразилась в его памяти, и именно в тот момент, когда она стояла с пистолетом в руках, несколько побледневшая, с широко открытыми глазами, дрожащая, но с высоко поднятой головой. Был миг, когда сыщик пожалел, отчего она не убила его. Миг этот пронесся в нем подобно молнии, развернув картину какого-то неведомого счастья. В этот миг он был человеком, а не животным. Но этот миг канул куда-то. Сыщик мотнул головой, как бы желая прогнать неотвязную думу, и шутливо проговорил:

— Послушай, Лубенецкий, уступи мне хотя ту-то...

— Бери хоть обеих, — проговорил не то шутливо, не то серьезно Лубенецкий.

— Ой ли?

— Право. Я тут сам ни при чем.

В последнее время Лубенецкий в доме

Грудзинской был действительно почти ни при чем. Панна не выносила его и пряталась. С того самого вечера, как панна посетила Яковлева, она сделалась страшно раздражительна и капризна до ребячества. Лубенецкий хотел было сперва принять крутые меры: отправить ее в Варшаву, но у него не хватило на это ни сил, ни смелости. Он только еще более начал ухаживать за ней, а она — еще более капризничать. Горечь наполнила сердце Лубенецкого. Он страдал, страдал по-своему и не знал, как помочь подобному горю. Минутами на него находило даже отчаяние, хотя те, которые знали Лубенецкого, вовсе не замечали в нем особенной перемены. Он по-прежнему перед посетителями кофейни был весел, развязен и любил поболтать о политике. Все это, однако, служило для него больше рассеянностью, чем обязанностью агента.

С Яковлевым Лубенецкий сошелся по-дружески.

Увидав, наконец, что Лубенецкий хотя и хитрый, но добрый малый, сыщик просто-напросто полюбил его. Всеми презираемый, Яковлев в дружеской беседе отводил душу с

Лубенецким. Коршуны поняли друг друга и оценили, но и тут Яковлев не упускал случая одолжить иногда у приятеля сотенку-другую рублей, разумеется, без отдачи. Яковлев и Лубенецкий настолько сошлись, что к Лубенецкому привилась даже любовь Яковлева к медвежьей травле. Лубенецкий от всей души полюбил эту травлю и хотя не завел у себя, подобно Яковлеву, притравленных мордашек, но зато имел пару медведей, неимоверно диких и злых, которые содержались для травли. За Рогожскую заставу, где происходила травля, они всегда являлись аккуратно, и без них она не начиналась. Они были первыми ценителями медведей и собак, и Яковлев подавал знаки начала и конца кровавой забавы. Кроме того, Лубенецкий, чисто из любви к искусству, начал помогать Яковлеву и в розысках. Яковлев от нескольких удачных опытов Лубенецкого пришел в неописанное восхищение. Лубенецкий оказался образцовым пройдохой. Не то чтобы он хотел услужить Яковлеву или правительству, не то чтобы он увлекался делом, нет, он просто делал это все как-то машинально, по врожденной привычке, а боль-

ше всего от скуки, которая томила его. От скуки же он поддерживал и начатую роль агента, действуя, однако, спустя рукава, да и необходимости особенной в рвении не было. При французском дворе наступило какое-то странное затишье и понуждений оттуда не шло. К тому же Лубенецкий давно уже решил покончить с этой «дрянью». Обстоятельства последнего времени все как-то сводились к тому, что ему бояться было некого. Он и перестал бояться. Еще ранее этого он пронюхал, что кроме Метивье, его, какого-то повара и какого-то булочника в Москве агентов нет. Метивье ему был не опасен. Этой птице успели уже обкорнать крылья, а повар и булочник были так незначительны, что на них и внимания обращать не следовало.

Верещагин не переставал посещать Лубенецкого. Молодой человек бодрствовал и гордился новой ролью агитатора. Лубенецкий не разочаровывал его. Он как-то за чтением какой-то гамбургской газеты намекнул юноше, что он может действовать и помимо его, Лубенецкого, вполне самостоятельно. Молодому человеку понравилось это, и он действитель-

но решился действовать в пользу Наполеона помимо Лубенецкого. Кинув зерно, Лубенецкий не заботился уже о том, какой оно даст плод.

Лубенецкий скучал, и если бы не Яковлев, подвернувшийся так вовремя и кстати, он просто не знал бы, что делать.

Между тем время шло, шло — для кого слишком быстро, для кого слишком медленно. Прошел сентябрь одиннадцатого года, такой же теплый, как и август, октябрь — дождливый и холодный, ноябрь — обильный снегами. Потом наступили Святки с увеселениями всякого рода, а за ними и новый — двенадцатый — год, еще не роковой для России и Москвы, а самый обыкновенный год, какие и прежде были. Москвичи веселились напропалую. Как обыкновенно бывает — предчувствий никаких. Сначала смущала москвичей комета, но и та как-то потом пригляделась всем и, наконец, в декабре исчезла вовсе с горизонта московского неба. В одном только простонародии по поводу кометы ходили какие-то смутные слухи и страхи, но на них избранное общество Москвы не обращало ни

малейшего внимания.

Панна Грудзинская с наступлением зимы излечилась от своей хандры и кинулась в разгар московских увеселений. Лубенецкий давал ей полную волю, махнув на нее рукой с такой досадой, однако ж с досадой влюбленного, прислушиваясь к говору, который она возбуждала, где только появлялась. А появлялась она везде, где только блистало лучшее общество Москвы. Она познакомилась с некоторыми аристократическими домами, высокопоставленными лицами, и даже тогдашний главнокомандующий Москвы граф Гудович раза два заглянул в ее ложу в Арбатском театре. Бог весть как, но она умела нравиться и входить в доверие. На одном аристократическом балу она встретила Метивье. Пораженный встречей, Метивье с особенным вниманием посмотрел на нее, но хорошенькая полька так ловко и так мило разговорила с ним, что хохлатый француз уверил себя, что он ошибся, что не она посещала его когда-то, с какими-то темными личностями...

Об успехах Грудзинской узнал и Яковлев.

«Чертова кукла!» — ругнулся он мысленно,

совершенно неожиданно в одно время встретив Груздинскую в покоях высокопоставленного лица, где его место было не далее порога.

Груздинская исподлобья взглянула на него и едко улыбнулась.

Так для Москвы и для наших героев время шло до мая месяца двенадцатого года.

Тринадцатого мая по Москве разнеслась необыкновенная новость: вместо фельдмаршала графа Ивана Васильевича Гудовича главнокомандующим Москвы назначен был генерал от инфантерии граф Федор Васильевич РаSTOPчин.

Перемена эта предвещала нечто особенное. РаSTOPчина все знали как патриота и как человека деятельного и энергичного. Стало быть, от главнокомандующего Москвы требовалось и то и другое.

Граф РаSTOPчин вступил в должность двадцать девятого мая.

XIV

РаSTOPчин Федор Васильевич, граф, герой двенадцатого года и главнокомандующий, как тогда называли, Москвы, по сказаниям со-

временников, был человек ума необыкновенного: тонкий политик, здравый мыслитель, писатель, философ, шутник, каламбурист, балагур. Сколько достойных качеств в одном человеческом существе! Как хотите, такой человек стоит удивления и уважения.

О начале своей карьеры граф Федор Васильевич рассказывал следующее.

«Отец мой хотя был небогатый дворянин, но дал мне хорошее воспитание. По обычаю моего времени, для окончательного образования молодого человека надобно было отправить его путешествовать в чужие края. И меня отец мой отправил. Я был тогда еще молод, но был уже поручиком. В Берлине пристрастился я к картам и обыграл одного старого майора. Майор отозвал меня в сторону и говорит мне: «Гер лейтенант! Мне заплатить вам нечем, у меня денег нет, но я честный человек. Прошу пожаловать ко мне завтра на квартиру, я могу предложить вам некоторые вещи; может быть, они вам понравятся». Я пришел к майору. Он привел меня в одну комнату, все стены которой были в шкафах. В этих шкафах за стеклом находились в ма-

леньком виде всевозможные оружия и воинские одеяния: латы, шлемы, щиты, кивера, одним словом — это было полное собрание оружия и воинских костюмов всех веков и народов, начиная с древности. Тут же стояли и воины, одетые в их современные костюмы. Посредине комнаты стоял большой круглый стол, на котором тоже было расставлено войско. Майор тронул пружину, и они начали делать правильные построения и передвижения. «Вот, — сказал майор, — все, что мне осталось после моего отца, который был страстен к военному ремеслу и всю жизнь собирал этот кабинет редкостей. Возьмите это вместо уплаты». Я после некоторых отговорок согласился. Уложил все это в ящики и отправился водою в Петербург. По возвращении в Россию я расставил все это в своей квартире, и офицеры, гвардии ежедневно любовались моим собранием. В одно утро приходит ко мне адъютант наследника цесаревича Павла Петровича и говорит, что великий князь желает видеть мое собрание и для этого желает приехать ко мне. Я, натурально, отвечал, что сам привезу к его высочеству. Привез и рас-

ставил все мои игрушки. Великий князь был в восхищении. «Как вы могли составить такое полное собрание в этом роде? — сказал цесаревич в восторге, — жизни человеческой мало, чтобы это исполнить». Ваше высочество, — отвечал я, — усердие к службе все преодолевает. Военная служба — моя страсть». С этого времени я пошел у цесаревича за знатка в военном деле. Наконец великий князь предложил мне, чтобы я продал ему мою коллекцию. Я отвечал, что продать ее не могу, но почту за счастье, если он позволит мне поднести ее его высочеству. Цесаревич принял мой подарок, обнял меня, и с этой минуты он начал считать меня преданным человеком».

Граф рассказывал это сенатору А. П. Протасову, когда тот, беседуя с ним, заметил: «Чтобы дослужиться до вашего звания, граф, надобно иметь ваши великие способности, ваш гений!»

Растопчин встал с дивана, на котором он лежал, взял со стола свечу, поднес ее к лицу Протасова и сказал: «Я хотел посмотреть, не смеешься ли ты надо мной». — «Помилуйте, — возразил Протасов. — Смею ли я над ва-

ми смеяться!»

Граф печально покачал головой.

— Вижу, вижу! — было его слово. — Так, стало быть, ты и вправду думаешь, что надобно непременно иметь гений, чтобы дослужиться до знатных чинов? Очень жаль, что ты так думаешь!

После этого граф рассказал упомянутый выше эпизод из его жизни. Рассказ этот относится к тому времени, когда граф жил на покой, в Москве, и когда фортуна совсем изменила ему. В это же время, живя, впрочем, в Париже, он написал под своим портретом.

*Без дела и без скуки
Сижу, сложивши руки.*

Ранее, однако ж, фортуна сильно покровительствовала ему.

Прежде всего, император Павел не забыл Растопчина.

В первые же дни восшествия на престол император сказал Растопчину:

— Растопчин! Жалую тебя генерал-адъютантом, обер-камергером, генерал-аншефом, андреевским кавалером, графом! Нет, по-

стой! — остановился император, — вдруг это будет слишком много! Я буду жаловать тебя через неделю.

Так император и жаловал Растопчина: каждую неделю по одной милости или, по крайней мере, вскоре одну за другой.

Растопчин, кроме этого, был один из первых кавалеров Анны 4-й степени.

Анненский орден до императора Павла не считался в числе русских орденов. Этот орден был Голштинский, перешедший к нам с императором Петром III. Императрица Екатерина II хотя жаловала этим орденом, но грамоты подписывал великий князь Павел Петрович, как герцог и гроссмейстер ордена. Ему чрезвычайно хотелось пожаловать им кого-нибудь из своих любимцев. Но им-то и не давала его императрица. Наконец, Павел Петрович придумал вот что. Он призвал к себе Растопчина, еще не графа, и другого своего любимца Свечина, подал им два Анненские крестика с винтами и сказал:

— Жалую вас обоих анненскими кавалерами. Возьмите эти кресты и привинтите их к шпагам, на заднюю чашку, чтобы не узнала

императрица.

Свечин привинтил свой крестик. Растопчин побоялся.

Императрица узнала об этом, улыбнулась и сказала:

— Ах, он горе-богатырь! И этого-то лучше не выдумал! Скажите Растопчину, чтобы он носил свой орден и не боялся, а я не буду замечать.

Так произошел орден Анны 4-й степени.

После слов императрицы Растопчин смело привинтил свой орден не к задней, а к передней чашке шпаги и смело явился во дворец.

Цесаревич заметил это.

— Что ты делаешь! — сказал он Растопчину. — Я велел привинтить к задней чашке, а ты привинтил к передней! Императрица увидит.

— Милость вашего высочества так мне драгоценна, — ответил Растопчин, — что я не могу скрывать ее!

— Да ты себя погубишь!

— Готов погубить себя, но докажу этим преданность вашему высочеству.

Цесаревич чрезвычайно удивился этой

преданности и твердости.

Вышло, что Свечин дрожал от страха за себя, Павел Петрович за себя и за обоих кавалеров, а Растопчин остался героем твердости и преданности.

Перед смертью императора Павла Растопчин впал у него в немилость и послан был на жительство в Москву, что, однако, нисколько не помешало карьере графа. Карьера его была упрочена.

Граф никогда не думал быть автором, — сказал один писатель, знавший лично Растопчина, в своих мемуарах. Однако ж, скажем мы, он сделался им и подвизался на этом поприще с успехом.

Первое, что писал он, было: «Плуг и соха», с эпиграфом: «Отцы наши не глупее нас были». В сочинении этом граф восставал против введения у нас на Руси иностранного земледелия. Книжка прошла незамеченной. Зато другое сочинение его имело успех громадный. Это — «Мысли вслух на Красном Крыльце ефремовского помещика Силы Андреевича Богатырева». Книжка читалась нарасхват и с восторгом. Растопчин весьма кстати затронул в

ней русское патриотическое чувство, глумясь над французами и над русскими их подражателями, что, однако, нисколько не мешало графу говорить на французском языке, как на своем природном, и быть в некотором роде истинным галломаном. Сораведливость требует сказать, что «Мысли Богатырева» написаны замечательно талантливо и есть маленькое совершенство в своем роде. В сочинении столько забавного и в мыслях, и в выражениях, столько бойких поговорок, так хороша простая разговорная речь, что его и в настоящее время, через десятки лет, можно прочесть с удовольствием. В 1809 году, поощренный успехом «Мыслей», граф написал комедию «Вести, или Убитый живой». В комедии этой та же цель, что и в «Мыслях», но с другой стороны, а именно: граф старался истребить предубеждение к французам и пустые слухи и толки, которых много было в тогдашней Москве по поводу успехов французского императора. Первое действующее лицо тоже Сила Андреевич Богатырев, а все другие — верные копии с тогдашних известных сплетников и сплетниц. Растопчин не пощадил в сво-

ей комедии даже пользовавшегося тогда особенной славой писателя Н. И. Ильина, автора драм: «Лиза, или Торжество благодарности» и «Рекрутский набор», от которых, как и от «Бедной Лизы» Карамзина, наши бабушки и дедушки плакали навзрыд. Н. И. Ильин был изображен под именем Николая Ивановича Пустякова. Успех пьесы был необыкновенный, но все, узнавшие себя под выдуманными именами действующих лиц, страшно обиделись. На Растопчина посыпались упреки и жалобы, но для графа упреки эти и жалобы были ничем; он не обращал на них внимания и жил в полное свое удовольствие то в селе Воронове, под Москвой, где у него был великолепнейший дом, то на даче в Сокольниках, то в доме своем на Лубянке и дожил таким образом до двенадцатого года, когда его вдруг заметили, сменили гнев на милость и назначили на такой важный пост, как пост главнокомандующего Москвы.

Граф вступил в должность главнокомандующего Москвы с некоторым апломбом; сейчас же сделал собственно для Москвы несколько дельных распоряжений относи-

тельно чистоты и порядка, на что предшественник его, Гудович, не обращал внимания, поставил на ноги полицейских драгун, особенно же позаботился зорко следить за иностранцами, проживающими в Москве, подозревая в некоторых из них агентов Наполеона.

Для этой цели он избрал Яковлева. Лично, наедине, обещая следующий чин и достойный орден, граф уполномочил сыщика действовать в этом отношении самостоятельно и смело.

Назначение графа Растопчина главнокомандующим Москвы явно было вызвано тревожным состоянием времени. В глазах людей, стоявших тогда во главе правительства, Растопчин был известен за человека, быстро умеющего применяться к обстоятельствам и действовать решительно. Замечательно, что граф вступил в должность в тот самый день, двадцать девятого мая, когда Наполеон отправился из Дрездена в Познань, а оттуда далее форсированным маршем в Польшу.

С этого дня уже не было сомнения, что Наполеон двигает свои полчища на Россию. Ко-

гда в начале весны французские войска и войска Рейнского союза собирались на разных пунктах Германии, еще не все были убеждены в неизбежности войны, хотя в то же время был объявлен рекрутский набор. Император Александр даже сам как бы сомневался в ней. В Петербурге в начале же весны государь, призвав к себе вице-адмирала Шишкова, сказал ему:

— Я читал рассуждение твое о любви к отечеству. Имея такие чувства, ты можешь быть ему полезен. Кажется, у нас не обойдется без войны с французами. Нужно сделать рекрутский набор. Напиши о том манифест.

Появился известный манифест, начинавшийся словами: «Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер» и т. д.

Твердые и решительные меры действительно были приняты: к западной границе со всех сторон России потянулись войска, повсюду заготавливались военные снаряды, строились магазины, исправлялись и воздвигались крепости, в Туле приготавливалось большое количество ружей. Словом, работа кипела.

ла повсюду. Особенное оживление представлял Вильно. Весь город был наполнен войсками. В окрестностях были раскинута лагери, стояли обозы, сгонялся рогатый скот, гремело оружие, дымились бивачные огни.

Государь прибыл в Вильно 14 апреля, в самое Вербное воскресенье.

В то же самое время, именно 17 апреля, в Париже Наполеон, осмотрев на Тюльерийской площади всю свою гвардию, отправил ее в поход за Рейн, а 27 апреля в сопровождении императрицы Марии-Луизы и всей своей многочисленной свиты поехал он в Дрезден, где его поклонники: короли, владетельные принцы и толпы знатнейших особ всех наций ожидали его прибытия. Время, проведенное Наполеоном в Дрездене, было блистательнейшей эпохой его могущества. Окруженный властителями, собравшимися по его призыву, он тогда был средоточием надежд и опасений почти всей Европы, и поучительное зрелище представляли тогда эти два замечательные монарха, Наполеон и Александр. Один, ослепленный блеском даров фортуны, подчинял своей прихоти государей, другой скромно

разъезжал по дорогам глухой Литвы, очаровывая всех своим благодушием и ласковостью.

В Дрездене, ослепленный успехами, Наполеон произнес следующую речь к князьям Рейнского союза:

«Венценосные друзья Франции! Дела в Европе приняли другой оборот. Как глава Рейнского союза повелеваю вам для пользы общей удвоить свои ополчения и, приведя их в готовность, пожинать лавры под моим начальством на поле чести и славы. Объявляю вам мои намерения: я желаю восстановления Польши, хочу исторгнуть ее из неполитического существования и возвести на степень могущественного королевства, хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы, мои союзники, мои друзья, думайте со мною одинаково. Я хочу поразить и поражу древних тиранов Европы. Я держал свое слово и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы, Москва и Петербург, будут видеть в стенах своих

непобедимых победителей!»

Десятки французских и германских газет подхватили эту хвастливую речь, напечатали и разнесли по всей Европе.

«Быть войне», — слышалось в рядах русских войск, когда до них начали доходить смутные слухи о грозных приготовлениях Наполеона. «Быть войне», — отозвалось в сердцах всех русских людей, и началась война.

Император Александр в половине мая посетил Гродно, 16-го числа он ездил за Неман для осмотра войск, а 10 июня берега этой величественной реки уже были покрыты войсками Наполеона.

В Вильно 13 июня в два часа ночи император Александр послал за Шишковым. Шишков застал государя уже одетым, сидящим в раздумье за письменным столом.

— Поспеши, — сказал он, — написать приказ моим войскам и к Салтыкову в Петербург о вторжении неприятеля в наши пределы, да непременно упомяни, что и я не помирюсь с ним до тех пор, пока хоть один неприятельский воин будет оставлен на нашей земле.

Между тем с 11 на 12 июня в час ночи На-

полеон из местечка Вилковиски, где была его главная квартира, прибыл в Ковно, на передовые посты свои и, надев на себя шинель и каску польского улана, осмотрел берега Немана и назначил места переправы. Наутро под раскаты грома и шум проливного дождя наведенные мосты уже колыхались под войсками французского императора, а через несколько дней на четырехстах верстах русской земли двигалось с лишком четыреста тысяч строевого войска, а посредине его в массе бесчисленных рядов пехоты, конницы, артиллерии и обозов мчалась карета Наполеона.

XV

В то время как западная граница России заволновалась от быстро вторгнувшихся полчищ Наполеона, Москва, цель его нашествия, продолжала жить по-прежнему. Никому из москвичей и не грезилось, что через каких-нибудь два месяца вся Москва наполнится чуждыми ей народами и в Кремле, святыне ее, затрещат французские барабаны. Пала ценность одних только ассигнаций. В барских домах продолжались обычные пирушки: ели, пили, танцевали экосезы, матрадуры, по-

лонезы и болтали по-французски, соблюдая тон старой Франции. В клубах, Английском и танцевальном, напропалую играли в висты, лябеты и бостоны. Гулянья сменялись гуляньями. Веселился даже простой народ. Погода, как нарочно, стояла самая прекрасная. По улицам так и мелькали франты во фраках то кофейного, то василькового цвета, в узких, под цвет гороха, панталонах, с китовыми хлыстиками в руках, в пышных жабо на шее и серых шляпах на голове. Дамы франтили не менее кавалеров, щеголяя своими прическами, необыкновенно высокими, и короткими рукавами платьев с высокими талиями. Любители читать восхищались «Бедной Лизой» Карамзина, «Малек-Аделем», «Вертером», «Фоблазом», особенно же мистериями Радклиф. Дамы сердобольные занимались щипанием корпии. Большая же часть из них, принадлежавшая к высшему обществу, ударилась в богомолье, начали посещать монастыри и делать вклады. Из пьес нравились: «Иван Сусанин» Шаховского, — в которой, кстати сказать, Сусанин не умирает под ножами убийц, как следует по преданию, а остается жив, для

того именно, чтобы добродетель торжествовала, — «Илья Богатырь» Крылова И. А., «Наталья, боярская дочь» С. Глинки и др.

Невзирая на видимый порядок и спокойствие, всеми, однако ж, чувствовалось нечто неладное.

Объявлено было ополчение.

На народных гуляньях устраивались военные красивые палатки, где грудями лежало оружие, и всякий желающий, записавшись в книгу, брал оружие и делался охотником.

Во все время, с самой весны, через Москву проходили полки, состоявшие из башкир и калмыков. Растопчин делал им смотр и рассылал по назначению.

Люди подальновиднее начали убираться из Москвы с первых чисел июня. В половине июня по Москве уже ходили тревожные слухи. Растопчин старался успокоить жителей приказами и объявлениями. Приказы не действовали. Кое-где начался ропот. Толпа загудела. Смутные и преувеличенные слухи с быстротой молнии начали переходить из уст в уста. Иностранцы начали быстро исчезать.

Первым исчез Метивье.

Так как в обществе он был слишком заметной личностью, то на это было обращено внимание. Начали судить-рядить и наконец пришли к убеждению, что он был агентом Наполеона. Аристократические Марьи ахнули, узнав о такой новости про своего идола. Один Яковлев мог бы задержать его, но чин и орден были для него менее заманчивы, чем докторские золотые.

В тот же день, как ему поручено было тщательно следить за подозрительными иностранцами, он явился к Метивье, обобрал его до нитки, дал несколько рублей на дорогу и посоветовал убраться подобру-поздорову. Хохлатый француз воспользовался советом. Яковлев, однако, представил его письма по назначению. Но письма эти уже были похожи на горчицу после ужина.

К концу июня уже стало очевидным, что Наполеон идет по направлению к Москве. Москва сразу всполошилась и заволновалась. «Московские ведомости» в известиях о действиях двух армий никак не могли скрыть настоящего положения дела. Карикатуры на французов тоже не помогали.

— Плохо дело, — сказал Растопчин начальнику своей канцелярии М. И. Ильину, автору «Рекрутского набора». — Надо принять против народного волнения более простые, но более действенные меры.

И вот 1 июля двенадцатого года появилась первая афиша Растопчина к народу. Афиша была без подписи. Вверху на ней был изображен питейный дом целовальника и московского мещанина Корнюшки Чихирина, который, выпив лишний крючок на тычке, услышал, будто Бонапарт хочет идти в Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного и заговорил, под орлом, собравшемуся народу: «Как! К нам? Милости просим: хоть на Святках, хоть на Масленице, да и тут жгутами девки так припопонят, что спина вздуется горой. Полно демоном-то наряжаться, молитву со-творим, так до петухов сгинешь! Сиди-ка дома да играй в жмурки либо гулючки. Полно тебе фиглярить, ведь солдаты-то твои кореша да щегольки: ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая, ни онуч не наденут. Ну где им русское житье-бытье вынести. От капусты раздуются,

от каши перелопаются, от щей задохнутся, а которые на зиму-то останутся, так крещенские морозы поморят, будут у ворот замерзать, на дворе околевать, в сенях зазябать, в избе задыхаться, на печи обжигаться. Да что и говорить! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову положить, Карл-то шведский почище тебя был, да и чистой царской крови, да уходился под Полтавой, ушел без возврата. Да и при тебе будущих-то мало будет. Побойчей твоих французов были, поляки, татары и шведы, да и тех наши так отпотчевали, что и по сю пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Ну, и твоей силе быть в могиле!» Далее следовало перечисление русских сил. Сказав речь, Чихирин пошел бодро и запел «Во поле береза стояла», а народ, глядя на него, говорил: «Откуда берется! А что говорил дело, то уж дело!»

Афиша произвела эффект необычайный. Это было ново и оригинально. Никто еще не говорил таким образом с народом.

Афишу читали, верили ей, а все-таки в народе ходил глухой ропот на что-то и на кого-то.

Выезды усилились, вследствие чего по Москве разнесся слух, что главнокомандующий запрещает выезжать из Москвы.

Растопчин выпустил вторую афишу, в которой объявил, что он вовсе никому не запрещает уезжать, если угодно, и, кроме того, сказал: «Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет».

Был ли Растопчин уверен в том или это было сказано для успокоения народа, но только это было сказано весьма, смело и неудачно. Тут уже видно ложное отношение к действительности, которое затем породило много такого, чего бы можно было избежать, ничем особенно не рискуя.

XVI

Из Останкина, откуда Яковлев выпроводил Метивье с пустыми руками, сыщик прямо отправился к Лубенецкому, чтобы сообщить ему эту новость.

Лубенецкий, с началом в Москве тревожного состояния, нисколько не изменил своих действий. Он вел себя по-старому и даже начал получать «Монитор», где печатались прокламации и воззвания Наполеона.

Не ладил он только с одной панной Грудзинской. Панна Грудзинская совсем уже не обращала на Лубенецкого внимания. Она была очарована тем приемом, который оказала ей московская аристократия, и вся потонула в своих успехах. Все остальное она отодвинула на задний план.

Лубенецкий не вытерпел. Он как-то явился к ней.

— Я должен вам сказать очень многое, панна, — проговорил он сухо.

— Говорите, — был ответ панны.

— Наполеон непременно будет в Москве.

— А мне какое дело!

— В том-то и дело, что я хочу знать: что вы намерены делать?

— То же, что делаю и теперь.

— Вертеться?

— Вертеться!

— В таком случае я ни за что не ручаюсь.

— В вашем ручательстве никто и не нуждается.

— Из любви к вам я предупреждаю, что Москва, наверное, будет разорена. В общем бедствии можете пострадать и вы.

— А вы?

— Вы знаете, кто я. Я безопасен.

— Безопасна и я.

— Как знаете, так и делайте, — проговорил Лубенецкий. — Но с этой минуты всякие отношения между нами прекращены. Грустно, что так случилось. Можно сказать, что я отогрел у своей груди змею. Змея эта — вы. Я покидаю вас, но запомните, что я обид не забываю. Может быть, обида моя дорого вам будет стоить. Я не желал бы этого, но...

— Довольно! — перебила его, сверкая глазами, панна. — Я угрозу не боюсь и прошу вас оставить меня. Я с жидами дела не имею.

С горечью в сердце Лубенецкий оставил Грудзинскую и не на шутку задумал отплатить ей той же монетой. Яковлев застал Лубенецкого в кофейне.

— Убежал! — проговорил он лаконично.

— Кто такой? — спросил Лубенецкий.

— Да мешок-то мой золотой, Метивье.

— Ну, и черт с ним!

— Нет, совсем не черт. Он мне пригодился бы очень кстати. Некого теперь и представить графу. Все-таки чин, награда...

Лубенецкий мотал головой.

— Что, сомневаешься, чтобы я выпустил Метивье из рук? — подмигнул Яковлев.

— Есть тот грех.

— Ну, конечно, обобрал как липку! — захотел сыщик.

— Я так и знал.

— Посоветуй, однако ж, Федюша, что мне теперь делать? Ведь во что бы то ни стало, а мне надо представить графу какую-нибудь сволочь.

— Тащи Грудзинскую.

— Грудзинскую? Гм! Мало толку будет — баба. Не люблю, я возиться с такой дрянью. Да и что с нее возьмешь! Впрочем, пришилить бы ее не мешало. Бой-девка. Да только пришилить бы ее не мешало другим путем.

— В таком случае у меня есть другой болван на примете.

— Кто такой?

— Верещагин.

— Ну?

— Ведь он прокламации Наполеона переводит.

— Неужто? — обрадовался Яковлев.

— Верно тебе говорю.

— Вот прекрасная-то статья! Ну, теперь дело кончено: он в моих руках. Русачка-то мне и надобно.

— Ты погоди, не торопись. Я сначала наведу тебя на путь, а потом уж ты и действуй.

— Превосходно, братец мой, превосходно! Федюша, слушай, хочешь, я тебя осчастливлю, друг мой!

— Ну?

— Поступай в полицейские драгуны. Теперь у меня большая сила в руках: я тебе и чин, и все такое выхлопочу. Брось эту дрянь — кофейню! Что за охота заниматься кипячением кофе, когда у тебя в голове гениальные мысли бродят. Ты отличный будешь полицейский. Ты для полицейского только и рожден.

— Что ж, пожалуй... — произнес, подумав, Лубенецкий. — Твоя мысль мне нравится. Но во и занимательно. Все равно я теперь скучаю и жизнь моя, можно сказать, разбита.

— Вот и превосходно! Я на днях же к делу и приступлю. Вот поживем-то — любо-дорого, Федюша!

— В свою очередь, и я могу сказать тебе такую новость, которая тебе пригодится.

— Говори скорей.

— В первых числах сентября Наполеон непременно будет в Москве.

Сыщик вытаращил глаза.

— Ты почему же знаешь?

— Это вопрос другой.

— Гм... новость-то в самом деле нешуточная!.. Ведь это, братец мой, черт знает чем пахнет!

— Да, уж именно, черт знает чем пахнет!

— Об этом надо донести главнокомандующему.

Через час-другой наши приятели были уже у Растопчина в Сокольниках, где в то время на своей даче проживал граф.

Лубенецкому поездка эта не особенно нравилась.

Скрепя сердце он ехал к Растопчину и обдумывал план объяснения.

Граф их принял немедленно.

В это время Растопчин находился в непрерывной деятельности, то и дело его посещали разные лица, и он сейчас же удовлетворял

каждого.

Граф вышел к посетителям в полном ратническом костюме. Яковлев быстро сообщил ему новость, переданную Лубенецким. Граф пытливо взглянул на сыщика.

— Откуда вы знаете?

Яковлев указал на Лубенецкого.

Окинув Лубенецкого с ног до головы таким же взглядом, граф попросил его в кабинет. Объяснение их было коротко. Лубенецкий подал графу, как доказательство его слов, какое-то письмо. Растопчин быстро пробежал его. Письмо было написано на французском языке на имя Метивье, и в нем сообщалось, что прямое намерение Наполеона побывать в Москве, с потерей под Вильно 20 тысяч войска, под Смоленском 10-ти. Прочитав письмо, граф сделал Лубенецкому несколько неожиданных вопросов. Лубенецкий благоразумно отвечал на них. В заключение граф сказал:

— Это вздор. Французов в Москве не будет. Я приказываю вам не болтать об этом. Я бы мог арестовать вас, но я уважаю умных людей. Вы содержите кофейню. У вас собирается много народу. Без толков о настоящем поло-

жении дел, без сомнения, не обходится. Еже-
ли вы услышите что-либо подходящее, прика-
зываю вам сообщать мне. Мещанин?

— Мещанин, ваше сиятельство.

— Я запишу тебя в число полицейских дра-
гун. Ты получишь чин.

Лубёнецкий поблагодарил.

— Теперь иди и помни, что я тебе сказал.

В этот день у Растопчина обедали Н. М. Ка-
рамзин и С. Н. Глинка, известный патриот, из-
датель «Русского вестника» и содержатель
пансиона, в котором воспитывались дети по-
чти всех тогдашних московских знамени-
стей. Этот же Глинка был и первый ополче-
нец. Доверие к нему Растопчина было на-
столько сильно и настолько он считал его ис-
тинным патриотом, что незадолго перед этим
он вручил ему триста тысяч рублей, с тем
чтобы Глинка употребил их по своему усмот-
рению с патриотической целью. Действитель-
но, Глинку в Москве знали все, и простой на-
род любил его. Почтенный историк Н. М. Ка-
рамзин, отправив свое семейство в Нижний
Новгород, ежедневно посещал графа, чтобы
узнать о ходе дел. Пообедав, граф отозвал

Глинка в сторону. — Слышали, Сергей Николаевич?

— Что такое?

— Вы только, пожалуйста, никому не передавайте, особенно же Карамзину. Эта новость поразит его. Я сейчас узнал от одного содержания кофейни, надо правду сказать, преумнейшего малого, что Наполеон в первых числах сентября непременно будет в Москве. Как вы думаете: вздор это?

— Вздор, ваше сиятельстве! — отвечал уверенно Глинка.

Граф улыбнулся.

— И я так думаю. Однако я намереваюсь перевести все присутственные места и дела во Владимир и в Нижний. Трудно, знаете ли, защищать Москву с 2800 рекрутов в со 160 полицейских драгун и пожарных.

— А Кутузов?

— Кутузов в армии, — отвечал шутливо Растопчян.

— Но ведь вы не можете один спасти столицу, граф?

— Спасу... но, может быть, по-своему. Однако ж я буду во всем виноват. Меня станут про-

клинать: сперва барыни, потом купцы, мещане, подьячие, а потом и все умники и весь православный народ. Я знаю Москву, Сергей Николаевич! Что вы на это скажете?

— Скажу словами, сказанными вам нашим почтенным историографом Николаем Михайловичем: будучи обязав всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет.

— Дай-то Бог.

XVII

— Что граф? — встретил Яковлев Лубенецкого.

— Предложил быть полицейским.

— Ну, вот! Я тебе говорю, что у тебя рожа полицейская.

Они отправились в кофейню, чтобы спрыснуть новую должность Лубенецкого.

В кофейне сидел Верещагин. Увидав его, Яковлев быстро скрылся, проговорив на лету Лубенецкому: «Вот он, дурак-то, сидит, действуй!»

Верещагин сидел не один. С ним сидел его давнишний знакомый, губернский секретарь Петр Алексеевич Мешков. Это был человек

лет тридцати пяти, настоящий тип подъячего того времени.

Лубенецкий подошел к ним, поздоровался и снова отошел.

Верещагин потребовал газет и трубку табаку. Видимо, он находился в каком-то возбужденном состоянии. Лубенецкий зорко следил за ним, делая вид, что он занят своими делами. Верещагин между тем просматривал какую-то газету.

— Ну, что нового в газетах-то? — спросил Мешков.

— Плохи наши дела, Петр Алексеич.

— Чем?

— Француз идет да идет.

— Ну, и пусть его! Нам что!

— Как что, братец! Нас должно интересовать это.

— Конечно. Да только что ж в том, что идет. Любопытно было бы знать кое-что другое.

— Есть кое-что и другое, — проговорил как бы нехотя Верещагин, — да сказать-то об этом не всякому можно. У меня, например, есть такая новость, что только пальчики оближешь.

— Ну, что ты! Скажи, брат!

— Прочесть, пожалуй, можно.

С этими словами Верещагин, оглядевшись, вынул из кармана полулист синей бумаги и тихо прочел Мешкову известную речь Наполеона к князьям Рейнского союза, переведенную им с некоторыми изменениями.

— Ты это откуда же взял?

— Перевел из гамбургских газет, — ответил Верещагин, пряча бумагу.

— Славная вещь! Позволь, брат, мне списать копию.

— Ну, милый мой, здесь не место списывать копию. Еще увидит кто.

Лубенецкий в это время вышел в свою отдельную комнату. Там сидел Яковлев.

— Что? — спросил сыщик.

— Читал что-то чиновнику. Вероятно, какую-нибудь переводную речь Наполеона.

— Надо следить. Ты мне скажи, когда они выйдут.

Лубенецкий снова появился в кофейне. Верещагин и Мешков собирались уже уходить. Лубенецкий сообщил об этом Яковлеву. Яковлев шмыгнул на улицу. Через несколько ми-

нут Верещагин и Мешков вышли. Яковлев последовал за ними. Был восьмой час пополудни. На небе собиралась густая туча.

— Быть дождю, — проговорил Мешков с целью затащить к себе Верещагина.

— Да, дождь, наверное, будет, — сказал Верещагин.

— Так зайдем ко мне. Посидим, поболтаем, благо, недалеко.

Они были уже на Кузнецком мосту, и Мешков действительно жил недалеко, близ бывшего Пушечного двора.

Верещагин согласился зайти к Мешкову, и вскоре они очутились в скромной комнатке последнего.

Начался проливной дождь. Наверное рассчитывая, что Верещагин и Мешков не уйдут в это время, Яковлев помчался на Первую Мещанскую и, захватив с собой Тертя Захарыча и еще двух ищеек, снова очутился у дома чиновника Саввы Смирнова, где жил Мешков.

Необходимость заставляет сказать, что произошло перед этим за три дня.

17 июня утром Верещагин, объезжая погребки своего отца, мимоходом завернул и в

кофейню Федора Андреева.

В кофейне почти никого не было.

Первое, что попало молодому человеку на глаза, это — французский «Монитор».

В последнее время Верещагин с жадностью читал иностранные газеты. Так как в кофейне Лубенецкого не всегда удавалось ему читать их — Лубенецкий из предосторожности не каждый день подавал публике номера газет, — то Верещагин познакомился с сыном тогдашнего почтдиректора Ключарева, который и доставлял ему случай прочитывать некоторые пересылаемые через почтамт иностранные газеты.

Развернув небольшой номер «Монитера», Верещагин на первой же странице прочел речь Наполеона к князьям Рейнского союза. Речь восхитила его, и он тихонько спрятал номер «Монитера», чтобы после выучить речь наизусть. Из кофейни он отправился в свой погребок на Покровку, забрался в каморку Жука и начал заучивать речь. В полчаса короткая речь была заучена. Молодой человек уничтожил номер и отправился к себе домой на Николоямскую. Всю дорогу речь не да-

вала ему покоя. Ему хотелось поделиться ею с кем-нибудь.

Когда он пришел домой, дома подавали уже обед... Отца не было.

Пообедав наскоро, Верещагин отправился в свою комнату и не мог удержаться, чтобы не перевести речи на русский язык, начал переводить ее, намеренно искажая, но все-таки стараясь располагать свои мысли, как будто располагал их сам Наполеон против тогдашних известных действий. Через четверть часа речь была готова. Желая поскорее прочесть ее кому-нибудь, он пошел в комнату мачехи Анны Алексеевны.

— Мамаша, хотите услышать новость?

— Какую там еще новость! — проворчала мачеха, сидя с дочерью.

— А вот прочту.

И Верещагин прочел переведенную речь, сказав притом:

— Так вот что пишет злодей француз!

— Тьфу, чтоб ему пусто было! — плюнула с озлоблением Анна Алексеевна.

Вскоре приехал отец Верещагина.

— Вот, батюшка, до чего дожили! — встре-

тила его Анна Алексеевна.

— Чего там еще?

— Как чего, батюшка! Француз на Москву прет!

— Аль очумела!

— Чего очумела! Михайло читал чтой-то.

— Покличь Михаилу.

Молодого Верещагина не оказалось дома.

Всю ночь читанное «чтой-то» сыном беспокоило старика Верещагина. Крут был нравом Николай Гаврилович и не любил, чтобы дети баловали. Наутро он потребовал к себе сына.

— Ты чего там читаешь бабам? Покажь.

Верещагин подал речь. Отец быстро пробежал ее глазами.

— Дурак ты, вижу! Ветер у тебя в голове! — проговорил старик и кинул речь на комод. — Займись-ка лучше делом.

Под вечер старик куда-то уехал.

Верещагин взял с комода речь, написал еще письмо Наполеона к королю прусскому, уж чисто от себя, и отправился в кофейню Федора Андреева, с целью показать их ему. Там он застал знакомого Мешкова, с которым и отправился на Кузнецкий мост.

Сильно заинтересованный речью, Мешков во что бы то ни стало хотел списать с нее копию. С этой целью он в квартире своей начал потчевать Верещагина. Подвыпив и раздобрившись, Верещагин, наконец, отдал речь Мешкову, который тотчас же собственноручно и начал списывать копию. По списании речи Верещагин взял ее обратно.

— Ты, брат, смотри, никому об этом не говори, — предупредил Верещагин. — Дело-то нешуточное.

— Ну, вот! Разве мне Управа благочиния еще не надоела! — отвечал Мешков.

От Мешкова Верещагин отправился прямо домой. Яковлев с ищейками последовал за ним.

Дождь миновал. Теплая, приятная июньская ночь надвигалась на Москву.

XVIII

В тот же самый день у церкви Симеона Столпника перед домом купца Николая Гавриловича нежданно-негаданно произошла следующая сцена.

Старик Верещагин ездил куда-то; только что одноколка его, запряженная доброй ло-

шадкой, остановилась у ворот, как перед ним, точно выскочив из-под земли, появилась женщина. Она была стара и отвратительна. Лохмотья ее волочились по земле, длинные, страшно худые руки были обнажены до плеч.

— А, ты жив еще! — завизжала сильно пронзительным голосом старуха, схватив его за полу кафтана. — Жив! Жив! Я признала тебя!.. Стой ты, проклятый!

Николай Гаврилович рванулся.

— Прочь, поганая!

Женщина загородила что-то бестолковое. Старик посмотрел на нее и — онемел от изумления: перед ним стояла та самая женщина, которую он очень хорошо знал, но старался забыть о ней.

Давно когда-то, более двадцати лет назад, женщина эта явилась перед ним, как страшный призрак, и исчезла, исчезла на много лет. Тогда она была молода, даже хороша собой, теперь же он видел перед собой преотвратительнейшее создание, но глаза у этого создания были так же невыносимы для него, как и в то время. Они блистали, они передавали ему что-то нехорошее, возмутительное.

Старику страшно стало. Совесть, как змея, зашевелилась в нем. Станный холод обдал его с ног до головы.

— Господи, прости меня! — пролепетал старик.

— Никогда! — взвизгнула несчастная, сильно толкнув его. — Никогда! Пропадешь! Ты пропадешь, и весь род твой пропадет! Будь ты проклят, злодей мой!

После этого безумная женщина кинулась в сторону, села у стены, закрыла лицо руками и начала голосить, выговаривая что-то совсем непонятное.

Это была несчастная Вера.

Двадцать лет она скиталась где-то, двадцать лет никто не видал ее на Таганке. Когда же она снова появилась там, то никто уже не узнал ее. Ее приняли за дикую юродивую из какого-нибудь подмосковного села.

У всякого безумного, как бы он ни был дик, страшен, есть одна, разумеется, произвольная черта, которая заставляет его действовать так, как бы действовал и человек, не лишенный ума. Черта эта бывает или пунктом помешательства, или врезавшимся в памяти

больного известным событием, совершившимся до или сейчас же после помешательства.

Варвара Угрюмова была помешана на пожаре и гибели своего ребенка, но в то же время она помнила набат, помнила желтый дом с колоннами, помнила купца, который толкнул ее. Все это бродило в ее голове, принимало чудовищные размеры, забывалось, смешивалось с чем-нибудь другим, но стоило только одному из этих предметов явиться перед ней, как мгновенно больное существо ее отдавалось явившемуся предмету и ей припоминалось все виденное и слышанное когда-то.

Старика Верещагина она встретила, понятно, нечаянно. Несчастливая безумная, в течение двух десятков лет бродившая где-то далеко от Москвы, забыла Москву, но, попав в нее, она машинально шла на те улицы, по которым блуждала в прежнее время и получала подачки. Так она забрела и на Николоямскую.

Встретив старика Верещагина, она сразу узнала в нем того купца, который отказал ей на Яузском мосту в подачке. Кроме того, она узнала в нем тогда же и кого-то другого, кто

был причиной ее несчастья. Перед бедной женщиной моментально предстала чудовищная картина ее гибели, и на голову старика посыпались безумные проклятия. Но это был один миг, уже не могший более повториться. Туман снова охватил мысли бедной женщины, и она, как почти всегда бывает с безумными после минуты сознания, забыла все только что совершившееся и заголосила, дико, безумно заголосила. Старик дрогнул. В этом завыванье безумной женщины было столько горького, тяжелого, так сильно выделась приниженность человеческого существа, так, наконец, жалкая фигура ее, прижавшаяся к стене, была похожа на загнанную, издыхающую под забором бездомную собаку, что старик и сам, как помешанный, вбежал к себе на двор и уже совершенно не помнил, как вошел в дом. Завыванье несчастной звоном стояло у него в ушах, и казалось ему, звону этому и конца не было. Обессилел старик и как тяжелый сноп упал на постель.

XIX

Вокруг старика Верещагина собрались все члены семьи и домочадцы. Все охали и недо-

умевали, что такое случилось со стариком. Старик через некоторое время очнулся и подал рукой знак, чтобы все его оставили, кроме жены и дочери.

— Где Михайло? — тихо спросил он жену.

— Уехамши куда-то.

Старик помолчал.

— Когда придет, покликайте ко мне.

— Ладно, батюшка.

Старик в это время встал и устремил глаза на киот, уставленный образами с тихо теплющейся лампадкой. Он молчал, молчала жена, молчала подросточек-дочь Наталья. Вдруг старик упал на колени и, ни к кому собственно не обращаясь, начал класть поклоны и приговаривать:

— Простите меня, Христа ради! Грешен я, Господи, грешен!

— Николай Гаврилыч, батюшка! — захныкала Анна Алексеевна, — да что с тобой такое? Аль нездоровится. Ляг в постельку, родимый, отдохни, все пройдет.

Девочка с испугом смотрела то на мать, то на отца. Между тем старик не переставал делать поклоны и приговаривать:

— Грешен я, Господи, много грешен!

Старик был прав. Грех на его душе лежал не малый. Но грех этот много лет дремал в нем. Только теперь он зашевелился у него под сердцем и напомнил, что он человек и что всякое дело получает свое возмездие. В молодости своей Николай Гаврилович был беден. Сын московского мещанина, с детских лет он отдан был в ученье, в лавочку. Там, по обыкновению, его били, гоняли, учили уму-разуму. Ученье Николаю Гавриловичу впрок пошло. В двадцать лет он уже был старшим приказчиком в одной из городских лавок и сумел настолько зашибить себе копеечку, что купил довольно обширный дом у церкви Симеона Столпника. Видя, что молодец далеко пойдет, многие из знакомых купцов начали прочить за него своих дочерей. Николай Гаврилыч, однако ж, руками и ногами. «Нет, — говорил он, — женитьба для меня покуда не резон. Поживу годик-другой, погуляю на свободе, а там можно будет к кому-нибудь и сваху заслать». Годик-другой Николай Гаврилыч действительно и погулял. Человек прескуповатый, с норовом, он, однако ж, в некоторых случаях

не жалел денежки. В доме его, где-то в конуре, нанимала комнатку старуха, торговавшая какой-то дрянью на Таганском рынке. Как-то месяца за два старуха не заплатила денег за свой угол. Николай Гаврилович, как человек аккуратный, почел своею обязанностью напомнить старухе ее обязанности. Он зашел к ней. Старухи не было дома. Вместо старухи его встретила другая женщина, одетая очень бедно, но такая молоденькая, бледная да хорошенькая, что Николай Гаврилович как вошел, так и остановился в изумлении.

— Вам чего? — спросила она тихо, не подозревая, что видит перед собой хозяина конурки.

— Я — Николай Гаврилович Верещагин, здешний домовладелец.

Девушка вдруг засуетилась.

— Ах, простите, пожалуйста, я не знала... садитесь, вот табуретик, милости просим... Право, я не знала...

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, милая, голубушка... — мягко проговорил Николай Гаврилович, приседая на табурет и оглядывая конурку.

В конурке была бедность непроходимая.

— Однако ж вы небогато живете, — проговорил Николай Гаврилович для того, чтобы сказать что-нибудь.

— Да-с, бедно живем, — промолвила девушка, стараясь не глядеть на гостя.

— Дочь будете?

— Дочь.

Прошла минута молчания. Вдруг на глазах девушки показались слезы.

— Я знаю, зачем вы пришли, Николай Гаврилыч, — зазвенел ее голосок, полный такой печали, такой глубокой скорби, что трудно было усомниться в ее горе. — Вы пришли за деньгами...

Николай Гаврилович хотел сказать что-то, но девушка перебила его:

— Отдадим... ей-Богу же, отдадим... Вот только собьемся и отдадим, Николай Гаврилыч... Потерпите немножко...

Николаю Гавриловичу крепко стало жаль бедную девушку, такую хорошенькую, молоденькую. А голосок ее, нежный, мягкий, так и застыл в его душе...

— Что ж, ничего, мы и подождем... — про-

бормотал он, пораженный красотой и горем девушки. — Отчего же не подождать, дело обыкновенное...

— Николай Гаврилыч, спасибо вам, спасибо! — пролепетала девушка и вдруг, схватив его за руку, начала целовать ее.

Николаю Гавриловичу стало и совестно, и неловко, и хорошо в одно и то же время. Поцелуй красавицы прожигал его руку. Он чувствовал ее дыхание, видел ее слезы, видел ее милые губки, слышал ее нежный, прерываемый слезами голосок и долго не мог войти в себя.

Через несколько дней старуха торговка покинула грязную конурку и перешла в лучшую часть дома Николая Гавриловича, а через год дочь ее, красавица, уже возилась со своей малюткой дочерью Варей. Так прошло года полтора, как вдруг обстоятельства Николая Гавриловича круто повернули в дурную сторону. Николай Гаврилович попросил старуху удалиться. Старуха с дочерью и внучкой волей-неволей, но должна была покинуть насиженный уголок. Николай Гаврилович даже не позаботился спросить старуху, где она бу-

дет жить. Прошло пятнадцать лет. Варя превратилась в семнадцатилетнюю красавицу и сделалась женою-бесприданницей богатого купца Угрюмова. Николай Гаврилович совершенно забыл о дочери. А дочь во все это время только раз и видела его. Как-то мимоходом, где-то на улице мать указала ей на Николая Гавриловича и тихо шепнула: «Вот твой отец, Варя». Сердце ее забилося, она пристально взглянула на отца и — по странной случайности — почувствовала к нему не любовь, как бы следовало, а какое-то непостижимое отвращение, смешанное со страхом. Вскоре после этого она сделалась счастливицей женой, потом счастливицей матерью, а затем последовал пожар, лишивший бедную женщину всего: и богатства, и сына, и ума. Почти одновременно с позабытой дочерью вступил в брак и Николай Гаврилович. Только лет через шесть жена подарила его первенцем сыном. И вот, в самый счастливый для него день, как грозный упрек, перед ним явилась первенец дочь, явилась, послала на его голову безумное проклятие, пропала на два десятка лет и опять появилась, чтобы кинуть на го-

лову старика, уже в другой раз женатого, новое проклятие...

Старик не выдержал новой встречи. Крутая натура его сломилась. Он почувствовал угрызение совести и, как обыкновенно поступают в подобных случаях грубые люди, обратился к Богу, начал каяться, унижаться перед другими, думая искупить этим свои прошлые грехи.

Долго старик кланялся, долго восклицал: «Простите меня, Христа ради», наконец поднялся и спросил:

— А где же Михайло?

— Нетути, ведь уж сказывала, что уехамши куда-то, — ответила торопливо жена.

— Быть беде! — вдруг пророчески проговорил старик.

— Какой? Родимый, что ты!

— Быть, я тебе говорю! — произнес уверенно старик. — Я чую это. Сердце ноет. Где та бумага, которую он писал про француза?

— Да он взял ее, родимый, — прошептала жена, — взял нынче и ушел с ней.

— Вот видишь!

— Чтой-то ты, Гаврилыч... — начала было

Анна Алексеевна, но муж остановил ее:

— Тс! Стой! Там кто-то стучит... Не Михайло ли?

Действительно, дверь отворилась и на пороге показался молодой Верещагин.

— Где был? — спросил отец, не глядя на сына.

— В городе, тятенька, в погребках.

— Ладно. А зачем бумагу назад взял?

— Тятенька, я... бумага вот-с...

Молодой Верещагин полез в карман, чтоб достать бумагу. В комнату в это время испуганно вбежала девочка Дашка, служившая на побегушках.

— Люди какие-то пришли, дяденька, — пролепетала она, — тебя спрашивают да еще Михайлу.

— Кто такой? Зачем? — крикнул старик, направляясь к двери. Но в это время в дверях показался Яковлев с Тertiем Захарычем.

Старик остановился. Он знал Яковлева. Узнал Яковлева и молодой Верещагин. Сердце молодого человека сжалось и заньло. Он понял, что пришли за ним именно. Анна Алексеевна стояла, как одурелая.

— Именем закона, — начал спокойно Яковлев, — как следственный пристав, приказываю всем оставаться на своих местах.

Все и без того не трогались с мест.

— Я арестую всех! — добавил он, поочередно взглядывая на тех, кого он должен был арестовать.

Все стояли и молчали. Один только старик Верещагин, понутив голову, тихо проговорил:

— По грехам моим воздается мне.

XX

Началось уголовное дело о «государственном изменнике». Изменником, без сомнения, явился молодой Верещагин. Пошли допросы и дознания, с сильнейшими увещеваниями от священника и «присутствия». Испуганный Верещагин в ответах начал путаться. Сначала он сказал, что нашел газету на Кузнецком мосту и перевел из нее речь Наполеона. Потом объяснил, что он такую газету получил на почтамте, вследствие чего был замешан в дело и директор почты Ключарев и впоследствии сослан на поселение в Вологду. О Лубенецком Верещагин не сказал ни слова, не сказал даже того, что он в его кофейне взял «Мо-

нитер» и перевел из него вышеозначенную речь.

Странная судьба хранила пройдоху жида. Мало того, вслед за арестом верещагинского семейства Яковлев представил графу Федора Андреева как одного из лучших его сотрудников, и граф тут же, по данному ему уполномочию, наградил Лубенецкого драгунским, т. е. полицейским, унтер-офицером, приказал являться, по наряду, в его дом ординарцем и заметил презрительно:

— Канальи вы оба, вижу я, скверное дело сделали, но мне теперь такие люди, как вы, нужны, а дело такое — еще нужнее.

Дело для графа действительно имело значение, ибо он 3 июля печатно объявил москвичам Верещагина сочинителем зловредной речи, а губернского секретаря Мешкова — ее переписчиком, присовокупив, что они преданы им суду и должны получить наказание за их преступление.

На это заявление москвичи не обратили как-то внимания. В нем чувствовалась какая-то натяжка, фальшь, фальшь в некотором роде бесцельная.

Дело, однако ж, вперед двигалось быстро. 15 июля магистрат, обще с членами Надворного суда, положил: «купеческого сына Верещагина, употребившего приобретенное науками знание к зловердному против отечества своего рассеянию от державы неприязнствующей Российской империи, лжесоставленного им сочинения, за таковое злостное содействие, как государственного изменника, следовало бы казнить смертью. За отменением оной, заклепав в кандалы, сослать вечно в каторжную работу в Нерчинск, а сочинение истребить».

Мешкову определено наказание более легкое.

Мнение это 17 июля представлено на ревизию в Уголовную палату. Уголовная палата, согласившись с магистратом и предварительно предъявив решение Растопчину, отправила дело в правительствующий Сенат, при рапорте Растопчина, который писал, что «он находит преступление Верещагина само важное и в том случае, если бы он единственно перевел прокламацию и речь Наполеона, но как он есть сочинитель сей дерзкой бумаги и пи-

сал ее именем врага России, то его, Растопчина, мнение было: Верещагина наказать кнутом и сослать вечно в Нерчинск, в работу».

Что за цель была у графа называть Верещагина сочинителем речи, когда она, за исключением нескольких фраз, было точно переведена с французского.

Верещагин сидел в «яме», сидел один, под секретом. Отец его и мачеха были от суда освобождены.

В то время как над молодым человеком висела грозная кара суда, Федор Андреев закрыл кофейню и вступил в отправление своей новой должности — полицейского драгуна.

Несчастный Верещагин, его прямая жертва, вовсе не интересовал его. Лубенецкого скорее интересовала новая должность. В первых числах августа он уже был ординарцем при графе и верхом на лошади сопровождал его по Москве. Граф им остался совершенно доволен, заметив:

— Не может быть, чтобы ты содержал в Стамбуле брадобрейню.

— С австрийцами я сражался под знаменами Костюшко, ваше сиятельство, — отвечал

смело Лубенецкий.

Граф промолчал, но довольно внимательно взглянул на нового полицейского.

— Ты далеко пойдешь, — сказал он и как бы нечаянно толкнул его лошадь в круп.

Лошадь Лубенецкого взвилась на дыбы, но Лубенецкий усидел, молодецки осадив ее.

Граф таким образом испытывал смелость и находчивость своих подчиненных. Он отличил Лубенецкого, и к концу августа новый полицейский был уже произведен в офицерский чин.

Лубенецкому, видимо, везло. Даже Яковлев не ожидал от него такой прыти.

Между тем произошла битва под Смоленском и на полях Бородина. В Москве, еще до получения официального известия о Бородинском сражении, о нем носились уже неясные слухи. 26 августа, т. е. в день битвы, все оставшиеся в Москве гуляли у Сухаревой башни, а на другой день праздновали победу.

Граф Растопчин, не переставая морочить народ своими афишками, 31 августа переехал из Сокольников в свой московский дом на Лубянку.

На Поклонной горе в этот день начали воздвигать укрепления, а войска подвинулись к самой Дорогомиловской заставе.

Все были в каком-то угаре.

Не унывал один Растопчин и последней афишей приглашал народ на «Три горы». «Когда до чего дойдет, — говорил он, — мне надобно молодцов, городских и деревенских», и далее: «Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки, француз не тяжелее снопа ржаного».

Афишка эта произвела страшную сумятицу и волнение в народе. Простой люд просто бунтовал. В довершение всего из «ям» и острогов были выпущены колодники, которые начали разбивать кабаки и трактиры. С ножами в руках они останавливал прохожих и кричали: «Где французы? Где басурманы? Давай их сюда! Давай! Бей, коли, руби, режь!»

По всей Москве слышался шум, крик, гам, вопли, вой собак, разгульные песни...

Посетив накануне Кутузова, Растопчин понял, наконец, что Москва должна быть в руках французов.

В ночь с 1 на 2 сентября, утомленный, разбитый, он призвал к себе не разбежавшихся полицейских и предложил, не хочет ли кто остаться в Москве для наблюдения за неприятелем, так как неприятель в Москве непременно будет. В числе других вызвались остаться Яковлев и Лубенецкий. К утру граф, не раздеваясь, заснул. Странно было его пробуждение. Часу в пятом утра к нему вбежал правитель канцелярий Рунич.

— Граф, на дворе толпится народ, — сообщил он очнувшемуся Растопчину, — и требует, чтобы ваше сиятельство вели его на «Три горы».

— Раздай им афишку, — проговорил спокойно граф.

— Раздавал, но...

— Понимаю, — перебил его граф. — Идите, оставьте меня одного.

На минуту граф задумался. Положение его было самое невыносимое. Что было делать? Что начать? Все уже было переиспытано, чтобы успокоить народ, всякие меры потеряли свою силу. Оставалось одно: или сказать народу, чтобы он спасался от нашествия, или бе-

жать самому от этого народа, оставив его на произвол судьбы. То и другое напрямки делать было опасно для личности графа. Граф терялся.

А народ между тем кричал на его дворе.

— Что же это нас все обманывают! Француз уж под Москвой, а мы резону не дождемся, толку не добьемся! В печатных листах всех православных призывали на «Три горы», а теперь туда и не ведут!

Растопчин все это слышал. Вызов был слишком прям и грозен, чтобы граф мог скрыться от народа. Растопчин несколько раз хотел выйти на балкон, но каждый раз оставался, не зная, что сказать требовавшей его толпе.

В одну из таких минут, когда он стоял у двери на балкон, среди шума и гама, ясно выделился чей-то голос:

— А изменник-то где? Купеческий сынок?

Голос этот мгновенно был заглушен говором толпы, требовавшей главнокомандующего, но главнокомандующий, не выходя, приказывал уже Руничу привести к нему изменника, а изменник этот был Верецагин.

Верещагина привели.

Слабый, худой, в синем тулупчике на ли-
сьем меху, в больших сапогах, он стоял перед
графом, ожидая его грозного слова.

Граф приказал вести его вниз.

Между тем совсем уже рассвело. Утро было
тихое, безоблачное, улыбчивое.

Неистовства по улицам все еще продолжа-
лись. Караулы были сняты. Последняя ночь
свободной Москвы прошла. Наступил поне-
дельник. Народ у дома Растопчина продол-
жал шуметь. Растопчин не появлялся к нему.
Он быстрыми шагами ходил по своему каби-
нету и грыз ногти. Вдруг он вошел в комнату,
где сидели испуганные дежурные полицей-
ские офицеры, Бурдаев и Гавфилов с другими
полицейскими, и, быстро идя вниз на крыль-
цо, велел им следовать за собой и вести туда
же, на двор, Верещагина.

Завидев Растопчина, народ несколько
смолк.

Граф был бледен, губы его дрожали. Види-
мо, он хотел решиться на что-то необычно-
венное.

Верещагин с понурой головой стоял среди

полицейских, не поднимая глаз, глубоко впавших и обведенных темными кругами. На лице его, некогда красивом, не было ни страха, ни отчаяния, ни один мускул не шевелился, и оно подернуто было каким-то земляным цветом, какой бывает на лицах покойников.

Все, окружающие графа, ждали чего-то. Ждала чего-то и толпа, и дождалась.

Граф быстро взял Верецагина за руку.

Очнулся молодой человек, торопливо поднял глаза, и первое, что увидел он, это — Матвея Ильича Комарова, который стоял во главе толпы в нескольких шагах от Растопчина. Взоры их устремились. Безумная и дикая улыбка проскользнула на губах Матвея Ильича. Он, видимо, радовался чему-то, но радовался как зверь, подстерегающий оплошавшую добычу. Костюм на нем был странный и фантастический. За поясом у него торчал нож.

В голове Верецагина мгновенно промелькнула позабытая картина и сейчас же исчезла, заглушенная голосом Растопчина.

— Братцы! — воскликнул граф. — Вот изменник, вот от кого погибает Москва!

— Ваше сиятельство, что вы! — зашептал бессознательно Верещагин. — Вам грех будет, граф...

— Руби! — махнул рукой граф Бурдаеву, стоявшему возле Верещагина, и отвернулся.

Бурдаев оторопел, замялся и не подымал рук. Тогда Растопчин гневно закричал Гаврилову:

— Рубите вы, или вы мне отвечаете своей собственной головой!

— Сабли вон! — скомандовал Гаврилов и нанес первый удар.

За ним ударил Верещагина и Бурдаев. Несчастный со стоном упал на землю.

— Теперь, братцы, сами расправляйтесь с изменником! — прокричал граф и быстро пошел в дом. За ним последовали и полицейские. С заднего крыльца, на дрожках, граф ускакал к Яузскому мосту.

Первым кинулся на Верещагина Комаров.

— Мой ты теперь! — закричал Матвей Ильич дико и начал несчастного тыкать ножом, как в решето.

Другие добились страдальца, привязали к конскому хвосту и потащили по направле-

нию от Лубянки к Никольской.

Долго потом труп несчастного Верещагина, обезображенный, покрытый пылью, валялся на Тверской, на углу Чернышевского переулка.

Толпа, волочившая Верещагина, кинулась потом в Кремль.

В это время французские войска входили уже в Москву через Дорогомиловскую заставу, а Наполеон в раздумье прохаживался по Камер-коллежскому валу, ожидая какой-то депутации с ключами города. Плохо знал Наполеон русских. Ключей ему никто не принес. Русской депутации не являлось.

Русские оставляли Москву.

У Яузского моста была страшная давка. Маленький мост должен был перевести несколько тысяч войска.

Граф Растопчин, окруженный пятью-шестью полицейскими, с нагайкой в руках, разгонял бегущий народ, чтобы дать дорогу войскам.

В числе полицейских сопровождали графа и наши знакомые, Яковлев и Лубенецкий, одетые не в костюме драгун, а в какие-то

странные сермяги, с малахаями на головах.

Тут же наблюдал за войсками и Кутузов, сидя на белой лошади, в фуражке без козырька, в сюртуке, с шарфом через плечо.

Народ бежал во все заставы Москвы, противоположные Дорогомиловской. Особенно много народу бежало по Троицкой и по Владимирской дорогам. Пыль над Москвой от движения стояла страшная.

В четыре часа пополудни неприятельские войска вошли в Кремль. Первыми появились там польские уланы.

Наполеон все еще находился у заставы. Видимо, взятие Москвы не оправдало его ожиданий. Он был недоволен, пасмурен. Гремели выстрелы, возвещавшие торжество победителей, раздавалась музыка и дробные звуки барабанов, но все это не утешало счастливого императора. Император грустил...

XXI

Начинало смеркаться. Пыль улеглась. На Спасской башне часы уныло пробили шесть. Два часа Москва находилась уже в руках неприятеля. На Рязанской дороге зажглись костры войск и народа, а в Москве все еще

гремели барабаны и слышался звук оружия. Оставшиеся в столице жители попрятались, куда кто мог. Где-то ударили в колокол. Бог весть для чего звуки колокола быстро замерли в воздухе. Двери домов были заколочены, окна закрыты. Казалось, это был заколдованный город.

Два пешехода переулками и тупиками пробирались на Арбат. Пробирались они тихо, крадучись, так как по Арбату двигались неприятельские войска, а пешеходы не желали встречаться с ними. Одеты они были в мужицкие армяки, с малахаями на головах. В руках каждый держал по палке. Ни дать ни взять они походили на самых обыкновенных мужиков глухих деревень, и кто бы мог узнать в них знаменитого сыщика Яковлева и бывшего содержателя кофейни Федора Андреева! Это были они. Яковлев и Лубенецкий пробирались к дому Грудзинской. Но вот он и дом хорошенькой польки. Приятели вошли туда и, увы, не нашли того, кого искали. Панна Грудзинской и след простыл. Оставалась одна панна Прушинская, которая с испугом встретила двух сермяжников. К удивлению

своему, она в них узнала Яковлева и Лубенецкого.

— Где Антося? — спросил у нее по-польски Лубенецкий.

Прушинская ничего не могла объяснить. Она сама не знала, куда скрылась Грудзинская. С самого раннего утра уехала она и не возвращалась.

— А ведь птица-то — ау! — догадался не вовремя Яковлев.

— Ничего, найдем! — проговорил тихо Лубенецкий. — А теперь покуда можно захватить и эту. Девка-то хоть куда!

— Твоя правда! — облизнулся сыщик и потрепал Прушинскую по щеке.

Прушинская вскрикнула о помощи. Но крик этот был напрасен. Четыре здоровых руки обхватили ее, как железными обручами, и через час-другой она очутилась уже в каком-то полутемном подвале. Болезненная, но приятная истома пробежала по ее членам. Волосы ее были в беспорядке. Она помнила нечто страшное и вместе с тем нечто странно-очаровательное. Здоровая была панна Эмилия.

Из этого же подвала немного ранее, как панна Эмилия пришла в себя, выбирались Яковлев и Лубенецкий. Они говорили о чем-то и самодовольно смеялись. Видимо, они были в отличном настроении духа.

— А по мне, — говорил Яковлев, — эта еще лучше.

— Смотри, чтоб мы с тобой не поссорились, Яковлев, — произнес Лубенецкий и, улыбаясь, прибавил: — Впрочем, я тебе уступаю ее. Довольно с меня и того, что я получил.

— Вот спасибо за это, — промолвил Яковлев. — Узнаю истинного друга. Ведь баба-то и в самом деле мне по вкусу пришлась. Смирная, простая, не ломается, да и телеса уж... Ох, какие телеса! Отдай, да мало!

Сказав это, сыщик от удовольствия поцеловал языком и прибавил:

— Во всяком случае, Федюша, доля твоя за тобой, я не скотина какая-нибудь ревнивая, мне, собственно говоря, все равно, я так только...

Яковлев недоговорил и, крестясь, снял с головы малахай. Они, направляясь к Каретному ряду, проходили мимо церкви преп. Пимена в

Воротниках.

Вскоре приятели очутились и в Каретном ряду. Зашли они в первую попавшуюся лавку. В лавке был хаос страшный: грудями лежали щепки, тесьма, мусор. Было темно. Яковлев зажег свечку.

— Ого! Да лавка-то самая удобная для нас! — воскликнул сыщик. — Крестись, Федюша, — зажигаю!

Федюша не крестился. Вместо него перекрестился сам Яковлев, взял горсть пакли, зажег ее и кинул в груды тесьмы. Тесьма быстро охватила пламенем. Зловещие струйки скользнули по ней и перекинулись, на другие предметы. Запахло дымом.

— Пусть проклятые понюхают московского дыма! — проговорил, выходя из лавки, Яковлев.

После этого приятели отправились на Солянку. Там они зажгли винные склады, и в то время как Яковлев и Лубенецкий направились далее, за Яузский мост, над Каретным рядом стояло уже зарево пожара и освещало Москву лучше полной луны. А ночь была тихая и теплая.

Между тем не дремали и другие агенты Растопчина. К утру вспыхнули москательные лавки, масляные ряды, Зарядье, Балчуг, лесные ряды на Остоженке. В одиннадцать местах вдруг показалось пламя.

И вот начался пожар московский, пожар, про который сам Наполеон сказал, что никакие описания горевшей Трои не могут сравняться с картиной московского пожара.

Пожар в самом деле был ужасающий. Громкие крики солдат Наполеона, старавшихся тушить пожар, бой барабанный, колокольный набат, грохот падающих стен, выстрелы, вой ветра — все это вместе соединилось в какой-то неопределенный гул, в какую-то адскую музыку, раздирающую слух и надрывающую сердце отчаянием. Колокола обрывались, головни летали из улицы в улицу, бревна перекидывались с дома на дом, искры носились дождем и каскадами. По улицам потекли огненные реки. Ужасна была Москва в это время и зло платила врагам за свое оскорбление. Пожар московский опалил крылья французских орлов.

Наполеон злился, выходил из кабинета

Александра на террасу, обращенную к Москве-реке, с негодованием взирал на пожар и снова уходил во внутренние покои дворца. Великий император чувствовал себя в каком-то тоскливом настроении и в сильном волнении расхаживал по чуждым ему залам царственного жилища. Этот великий полководец ничего лучшего не выдумал против прекращения пожара, как искать поджигателей. Разумеется, их начали находить. Находили, расстреливали и вешали на фонарях с надписями на французском и русском языке: «Московские поджигатели». А пожар все-таки продолжался и душил непрошенных пришельцев дымом и смрадом.

Что же панна Грудзинская?

Хорошенькая панна прежде других узнала, второго сентября, что французские войска двигаются к Дорогомиловской заставе. Недолго думая, оставив все имущество на попечении панны Эмилии, она отправилась встречать своих соотечественников-поляков.

В числе пришедших она встретила и несколько знакомых уланских офицеров.

Вместе с ними она вошла в Кремль, обращая на себя внимание молодежи. Тут ее встретил Мюрат, король неаполитанский. Мюрат был настоящий тип итальянца, видный и красивый брюнет, с блестящими черными глазами, с распущенными по плечам волосами и с густыми бакенбардами, придававшими мужественный вид его физиономии.

Мюрат, увидав хорошенькую польку, отпустил ей несколько изысканных любезностей. Панна с плутоватой улыбкой отвечала ему тем же на чистом, разумеется, французском диалекте. Понятно, король неаполитанский не мог не воспользоваться случаем. Панна ночевала в доме графа Разумовского на Гороховом поле, в котором Мюрат избрал свое местопребывание до командировки за наблюдением Тарутинского лагеря.

На другой день хорошенькая полька разъезжала уже по улицам на королевских лошадях. Счастливая натура была у панны Грудзинской: она везде была на своем месте и умела применяться ко всяким обстоятельствам. Неаполитанский король настолько остался доволен панной Грудзинской, что да-

же взял ее с собой под Тарутино. Панна с удовольствием согласилась сопровождать короля.

ЭПИЛОГ

Время между тем шло. За периодом пожара начался период грабежей. Что не истребил у оставшихся жителей пожар, то ограбили пришельцы. Дошло, наконец, до того, что нечего уже было грабить. В Москве почувствовали недостаток в провизии. Французы начали лакомиться галками и воронами, а генералы победоносной армии на своих собственных спинах таскать свиные окорока, из предосторожности, чтобы кто-нибудь другой не воспользовался ими.

Сам Наполеон захотел покушать стерлядей, и их начали ловить в Москве-реке.

В войске начался ропот. Скрепя сердце Наполеон переносил его и утешался по вечерам избранными ариями из итальянских опер. Иногда он гулял по улицам Москвы и отправлялся на охоту, устраиваемую для него в ближайших к заставе лесах.

В исходе сентября императору французов представилась уже печальная будущность. Недостаток в фураже для лошадей более всего смущал Наполеона. Лишь только выпал пер-

вый снег, французы встrepенулись и с ужасом взглянули мысленно на пространство, отделяющее их от отечества. 10 октября Наполеон выступил из Москвы. Часть Кремля по приказанию императора взорвана генералом Мортье. В тот же день с отрядом казаков в Москву прискакал генерал Иловайский. Он издал два приказа, и порядок в Москве начал восстанавливаться.

В тот же день сняли свои армяки и малахаи и наши герои — Яковлев и Лубенецкий.

Во все время пребывания в Москве неприятелей они чем могли, тем и вредили им. Не странно было, что Яковлев, как русский человек, из-за угла размозжил голову не одному французу, но странно было, что таким же образом поступал и Лубенецкий, который был одним из лучших агентов французского правительства. Дело, однако, объяснилось просто. Прозорливый еврей постиг, что Наполеон в Москве будет глупый гость, и счел за лучшее придержаться русской стороны, которая отогрела его и, мало того, дала ему некоторые права. По своему обыкновению, новому делу он отдался душой и телом, за что и был оце-

нен по достоинству.

Когда Растопчин из Владимира возвратился в Москву, он назначил Лубенецкого квартальным в одной из лучших частей города. Лубенецкий, под именем Федора Андреева, с достоинством вступил в отправление своей новой должности и лет двадцать находился в ней, получая чины и ордена. Много раз ему предлагали должность судебного пристава, но он каждый раз отказывался. Обязанность квартального пришлась ему как-то по вкусу.

В тридцать втором году, за старостью лет, он вышел в отставку и поселился на Первой Мещанской у церкви Троицы в Капельках. Друг его Яковлев умер за год перед тем от холеры, завещав все свое довольно значительное состояние Эмилии Прушинской, которая как-то сжилась с сыщиком и со скорбью сохранила его. Облагодетельствованная панна тотчас же отправилась в одну из северо-западных губерний, где купила себе имение, нашла мужа и дожила свой век мирно и счастливо.

Совсем не то случилось с панной Грудзинской. Бурная жизнь ее и окончилась бурно.

Она была раздавлена в своей карете при переправе через Березину, полная сил и надежд на будущую жизнь в Париже, среди роскоши и довольства.

Пани Мацкевич, сделавшись в рядах французских войск маркитанткой, была где-то пришиблена русским мужиком.

Семья Верещагиных захирела, хотя и не была забыта императором. Александр Благословенный щедро вознаградил старика Верещагина за безвременную кончину сына. Но и сам старик скончался безвременно: он был разбит лошадьми на Каменном мосту.

Проживая еще во Владимире, граф Ростопчин доносил министру юстиции по делу Верещагина следующее. «Изменник сей и государственный преступник был перед самым вшествием злодеев наших в Москву предан мною столпившемуся перед ним народу, который, видя в нем глас Наполеона и предсказателя своих несчастий, сделал из него жертву справедливой своей ярости».

Через два года Ростопчина сменил граф Торماسов. Ростопчин остался этим весьма

недоволен, и, как бы назло всем, когда уже за русскими утвердилась слава жертвы Москвой, он приписал сожжение Москвы самим неприятелям; для русских брошюра Растопчина осталась и неразгаданной и неприятной. О своем поступке с Верещагиным граф благоразумно умалчивал и вообще не любил, когда кто-либо спрашивал у него об этом: совесть графа в этом отношении была нечиста.

Граф умер в Москве в двадцать шестом году, умер в немилости и похоронен на Пятницком кладбище.

Высокий чугунный решетчатый навес осеняет место погребения некогда знаменитого деятеля. Тут же погребена и семья его. На могиле графа лежит массивная мраморная плита с подобающей надписью. Место погребения графа запущено. Какая-то старинная постройка, род склада, заслоняет могилу, и, чтобы приблизиться к могильному навесу, надо обходить постройку, хотя «растопчинская дорожка», с правой стороны от церкви, прямо ведет к месту погребения графа. Герой своего времени забыт.

Одному Лубенецкому суждено было пережить и Яковлева, и Грудзинскую, и облагодетельствовавшего его графа. Отставной квартирный умер только в начале шестидесятых годов, в дряхлой старости, на руках какой-то старухи-приживалки. После него остались какие-то медные гроши. Довольно значительное состояние свое Лубенецкий убил на кутежи в Марьиной роще. В сороковых годах имя Андреева, как кутилы, было известно всем цыганам и цыганкам Москвы. Редко кто кидал столько денег, как он. Невзирая на свою старость, Лубенецкий был замечательно бодр и жизнерадостен. Поседевшие волосы еще более придавали выразительности его лицу. Между цыганками он считался молодцом, и не одна смуглолицая певунья дарила его добрым поцелуем. Прах пана Лубенецкого упокоился рядом с прахом друга его, Яковлева, на Лазаревом кладбище. И над их прахом были памятники, но они давно свалились, их занесло землей, и летом на них разрастается густая трава. Забыты и эти маленькие герои своего времени.

Где и как сложил свою несчастную голову одичавший Матвей Ильич Комаров, своеобразно знаменитый автор «Английского милорда», — неизвестно. Тысячи тысяч читателей «Милорда» и не подозревают, вероятно, как тяжела и несчастна под конец была жизнь автора этой «занятой» книги. «Матвей Комаров, житель города Москвы», живет и не забыт в своем странном произведении...

Героев наших не стало, все они сошли в могилу, но и до сих пор стоит еще на Лубянке дом графа Растопчина, перешедший в другие руки, который был безмолвным свидетелем ужасной и кровавой расправы страха и безумия...

Примечания

И. В. Гудович. Он был главнокомандующим
Москвы с 7 августа 1809 г. по 13 мая 1812 г.

[^^^]